



ИРИНА ВАСИЛЬКОВА

КСЕНОЛИТ

И ДРУГИЕ ПОВЕСТИ

Ирина Василькова

**Ксенолит и другие
повести (сборник)**

«Геликон Плюс»

2015

УДК 84.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Василькова И.

Ксенолит и другие повести (сборник) / И. Василькова —
«Геликон Плюс», 2015

ISBN 978-5-98709-824-0

Напряжение этой книги создается двумя смысловыми полюсами, двумя повестями. Фон одной из них – семья, родовое гнездо, другой – край света, дикая природа. В «Садовнице» героиня пытается выстроить собственную траекторию жизни, отталкиваясь от психологически трудных отношений с матерью. Обе они переживают любовь и ненависть, притяжение и отталкивание, горечь и просветление. У героини «Купола Экспедиции», студентки, попавшей в полевой сезон на Камчатку, случается внезапный «роман», но... не с человеком. Через тридцать лет она перечитывает свои дневники, и оказывается, что взаимоотношения с ландшафтом, возникшие в той экспедиции, оказались основой, на которой была выстроена жизнь. К одному из этих полюсов так или иначе тяготеют входящие в книгу рассказы, но и повести, и рассказы здесь объединяет одно – восхищение трагичностью и красотой мироздания.

УДК 84.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-98709-824-0

© Василькова И., 2015
© Геликон Плюс, 2015

Содержание

Вместо предисловия, или Несколько слов о структуре книги	6
I. Ксенолит	7
Ландшафт человека	7
Садовница	10
Ниночка	34
Караимское кладбище	40
Луч фонарика в сторону звездного неба	47
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Ирина Василькова

Ксенолит и другие повести (сборник)

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы).»

© Василькова И., текст, 2015

© «Издательство «ЛЕМА», макет, 2015

* * *

Вместо предисловия, или Несколько слов о структуре книги

Книга не случайно так названа и не случайно делится на две части.

Первая ее часть – «Ксенолит» – представляет собой некое структурное единство, отдельную книгу.

Входящие в нее повести и рассказы занимают строго определенные позиции, как атомы в кристалле. Их нельзя менять местами без риска утратить целостность.

Поэтому первая часть – более стройная, более строгая.

Вторая часть вольнее, пластичнее, ироничнее. Если опять использовать вещественную метафору, то это стекло, а не кристалл.

А в целом – наверное, это одна мелодия, но сыгранная на разных инструментах.

Автор

I. Ксенолит

Ландшафт человека

1

Предисловие – жанр выдуманный, никто предисловий не читает. В начале любой книги можно поместить что угодно. Благодаря чему перед вами не введение к смыслам книги, которую вы держите в руках, а в лучшем случае – попытка сформулировать те таинственные, но простые мысли, которые она, эта проза, у меня вызывает. При этом я не слишком беспокоюсь, что окажусь непонятым, поскольку чтение этой небольшой глубокой и очень прозрачной книги сразу заставит читателя забыть любые формулировки.

2

«Ксенолит» составляют два полюса: разнесенные в начало и завершение повести «Купол Экспедиции» и «Садовница» – плюс планетарные рассказы, испытывающие к повестям ту или иную степень притяжения. На первый взгляд, эти две части книги неожиданно разнородны. На первый взгляд очевидно, что вокруг них формируются два смысловых мира, между которыми если и есть связь, то только в сравнительных силах отталкивания.

Тем не менее все это слишком просто, чтобы быть истиной. Высокосмысловая парадоксальность «Ксенолита» как книги состоит в том, что связь эта безусловна и она в со-творчестве этих двух миров. Полюс «Садовницы» – это мир, обитаемый человеком, но вопреки мирозданию – свободный от присущей всему человеческому смысловой мутности. Все чрезвычайно сложные, болезненные, драматические, трагические смыслы, которыми беспросветно наполняет человек, как туманным эфиром, среду собственного существования, здесь оказываются просветлены необыкновенной силы источником деятельной, трудовой отстраненности и ума. Есть радостное чувство над-человечности, в котором нет ни толики отрицания, то есть «сверхчеловечности». Но есть достоинство и строгость – без умаления, пренебрежения; есть твердость в этой постепенно обретаемой опоре, чей фундамент лежит вне привычной жизни и даже вне категории нравственности, так как и для нравственности, оказывается, недостаточно смысла в человеческом. Так откуда берется фундаментальность этой прозы?

Лужин (равно как герой «Ослепления» Элиаса Канетти) на костылях интеллекта входил в мир калекой: такова была трагедия его экзистенциальной неуклюжести. В мире «Садовницы» (что может быть горше, невозможней, чем драма взаимоотношений с матерью?), напротив, в жгучем, шатком мире чувств и положений, то и дело подкатывающего обморока существования – с надежностью научного подхода обретаемая та опора, которая не позволяет предаться отчаянию или бесчувствию, что хуже. При этом никакой умственной холодности мы не наблюдаем. Так действует просвещение: человека, знакомого с научным представлением о мироздании, невозможно окончательно убедить в субстанциальности лжи.

3

Во втором – и все-таки главном – мире «Ксенолита», в «Куполе экспедиции», мы видим уникальное решение задачи, обратной той, которая решалась автором в первой части, в «Садовнице».

Что происходит в «Куполе», в повествовании, почти лишенном событий, но от которого невозможно оторваться? Все просто: юное создание, аспирантка геологического факультета вместе с тремя взрослыми мужчинами отправляется в долгосрочную экспедицию по Камчатке. Для драматургии выбор не самый широкий: либо повесть останется путевым дневником, либо что-то должно произойти для привлечения приключенческого жанра, либо героиня должна быть вовлечена в напряженные отношения, вызванные вынужденной близостью мужского мира. Но вместо этого повесть обращается к иным смыслам, а именно к драме мироздания и человека, сознающего свою отверженность, чужеродность как человеческому миру, так и ландшафту, чье неживое величие обладает такой интенсивностью, что глаз, разум, душа оказываются способны его, ландшафт, одухотворить.

Героиня уклоняется от любых отношений в плоскости человеческого и влюбляется в ландшафт. Не слишком изобретательно, скажете вы. Да, соглашусь я, фабула не слишком экстраординарная – если только не добавить, что влюбленность эта оказывается взаимной.

4

Мало кто сможет признаться, что не испытывает интереса к пейзажу как к источнику красоты. Но еще меньше тех, кто способен ответить на вопрос: какова природа удовольствия, получаемого от такого иррационального занятия, как созерцание ландшафта?

Так насколько трудно объясниться в любви к ландшафту, восхититься пейзажем? Не слишком. А насколько необыкновенно, невероятно – стать его невестой? Женой? Зачать, выносить и воспитать творение?

5

Ландшафт невозможно прочесть должным образом, не применяя естественнонаучных инструментов. Ландшафт – одна из самых интересных книг. К чтению нового ландшафта следует готовиться задолго, изучая весь ареал смыслов, в нем заложенных: культурно-исторических, геологических, географических и т. д. Только запасшись научной «партитурой», следует слушать симфонию ландшафта.

Этим поначалу и занимается героиня «Купола»: день за днем, в самых сложных обстоятельствах она всматривается в симфонию ландшафта. Проходит тридцать лет, героиня перечитывает свой путевой дневник и обнаруживает, что взаимоотношения с ландшафтом, возникшие в той экспедиции, оказались не то чтобы едва ли не самым важным, что происходило в ее жизни, но – той основой, на которой была выстроена жизнь. Свершение взрослости, достигнутой полноты личности – вот что дает драма повести.

6

Почему ландшафт важнее, таинственнее государства? Почему одушевленному взгляду свойственно необъяснимое наслаждение пейзажем? Ведь наслаждение зрительного нерва созерцанием человеческого тела вполне объяснимо простыми сущностями. В то время

как в сверхъестественном для разума удовольствии от наблюдения ландшафта если что-то и понятно, так только то, что в действе этом кроется природа искусства, чей признак – бескорыстность, чья задача – возвращение строя души, развитие ее взаимностью...

И не кроется ли разгадка в способности пейзажа отразить лицо ли, душу, некое человеческое вещество. Возможно, тайна – в способности если не взглянуть в себя сквозь ландшафт, то хотя бы опознать свою надмирность. Не потому ли глаз охотно отыскивает в теле отшлифованного камня разводы, поразительно схожие с пейзажем, что камень, эхом вторящий свету ландшафта, тектоническая линза, сфокусировавшая миллионы лет, даруя взгляду открытие своей ему со-природности, – позволяет заглянуть и в прошлое, и в будущее: откуда вышли и чем станем? Что выделанная взглядом неорганика непостижимо раскрывает свет души?

7

Человек одухотворяет ландшафт глазом. Научным разумом одухотворяется Вселенная.

В результате прочтения этой нравственно убедительной книги не только становится ясно, что с необходимостью она должна быть обращена издателями к юношеству. Но к тому же окончательно утверждается радикальная мысль, что абсолютно все специализации образования должны начинаться с естественнонаучных программ. Без такого преобразования цивилизация вряд ли отыщет лучшее свое направление в духовном развитии. Сейчас Бога больше в науке, чем где бы то ни было. Чистота, незыблемость и парадоксальность логических конструкций, красота математики как искусства – все это сейчас убедительней объясняет человеку, ради чего он живет, чем конфессиональные институты.

Занятия наукой имеют бесценное значение для нравственной природы человека. Любовь к Творцу нередко начинается с любви к неживому творению, но едва ли не столь же часто на этом и заканчивается, так и не разившись по отношению к творению-живому – человеку. Развить внутренне себя от неживого научного в сторону живую и высшую и, став сильнее с приобретением того особенного смысла, с каким моллюск вглядывается в известняк, вернуться к человеку – вот важная задача.

8

Ксенолит (греч. *xépos* – чужой и *líthos* – камень) – обломок горной породы, захваченный магмой, – является важным источником информации о строении недр. Ксенолит – это своего рода редчайший, «лунный» камень, только занесенный не из космических просторов, а с недостижимой бурением глубины – более двухсот километров.

Ксенолит в повести «Купол Экспедиции» – символ спасительной инородности, нечто предельно внешнее, чужеродное миру и тем более человеку, но несущее о мироздании ценнейшую информацию.

Но и героиня повести – тоже «ксенолит», слиток человеческого, хрусталик взгляда, одухотворяющий неживое мироздание, с которым он парадоксально входит в творящую связь.

Александр Иличевский

Садовница

«По пустому классу летал тополинный пух» – первая фраза готова. Кладу ручку, вслушиваюсь в звук. Мне нравится.

Возьму и напишу детектив в духе Иоанны Хмелевской – не для денег, конечно. Вроде дерзкого желания сыграть в запретную игру, когда ждут несделанные уроки. Детектив – вот что поможет отрешиться, абстрагироваться, смыться в астрал – ну да, если так называется уход, улет от действительности. Чем-то она, действительность, меня, видимо, достала.

Я сижу на складном стуле в мансарде дачного дома, всеми своими поворотами лестницы и фестончатыми шторами-«маркизами», всеми кремово-сухими букетами поющего о радости и уюте. Он идеален, мамин дом: на полу колесо плетеной циновки, ниша для цветов в небеленой глиняной стене камина, напольная ваза. Но меня мучает избыточность этой красоты – хотя бы той рыжей тюлевой сетки с оборкой на моем окне. Всегда мечтала о летней комнате в голубых тонах и простых линиях, тем более что в мансарде летом такой жар от шиферной крыши.

Смотрю на страницу, где красуется одна-единственная фраза, и понимаю, что не напишу больше ничего, потому что слышу внизу раздраженный кашель, цоканье зажигалки и ерзанье плетеного кресла. Кажется, не только папиросный дым пролетает ввысь мимо моего окна, но и невидимый поток раздражения, слитый с дымом. Возвращаюсь в реальность. Нет, ничего не напишу сегодня – дух неодобрения меня отравил, я чувствую легкое подташнивание и смутное недовольство собой. Тем не менее делаю то, чего мне совсем не хочется: спускаюсь вниз по крутой лестнице в полутьму и прохладе первого этажа, открываю дверь на крыльцо.

Сидит.

Семидесяти ей еще нет. Медное невозмутимое лицо, презрительные, нет, свысока глядящие глаза – так и хочется сказать, индейский профиль, только нос хохляцкий подкачал, такая бульбочка. Нос, правда, не делает облик менее суровым. Профиль все равно выглядит орлиным – за счет посадки головы или разворота плеч, не пойму. Полуседое каре, беломорина в загорелой руке, ослепительно белая блуза. Если не подходить слишком близко, выглядит лет на двадцать моложе. Царственным жестом стряхивая пепел в банку от Nescafe:

– Опять бездельничаешь?

Когда-то хотелось дерзить, скандалить, плакать, убежать из дому – теперь только молчать и тупо, заведенно подчиняться. Беру лейку и тащусь поливать помидоры, внутренне изнемогая от бешенства – зачем лейкой, когда есть шланг, – но зная правильный ответ: в шланге она холодней, чем из бочки, а помидорам это вредно. И дело не в том, что я не люблю помидоры и что после двадцати леек у меня не разгибается спина и болит локоть – это еще не причина чувствовать себя несчастной. Причина в другом – в невероятном, выматывающем чувстве вины.

1. Королевская кровь

«Дрянь такая!» – это ты мне с детства.

Мы живем в военном городке, мне семь лет, и от вида моих платьев обмирают соседки. Понятно, что платья перешиты из старья, но у тебя золотые руки и идеальный вкус – почти Коко Шанель. Царственный вкус. Офицерские жены с перманентом, сплетнями и духом коммунальной кухни, замрите: среди вас королева! Небольшое королевство тебе точно не помешало бы – и стало бы оплотом отменного порядка. Смотришь на ломкое послевоенное фото, на стайку однокурсниц – все в кофточках каких-то нелепых, широкоскулые, с кудряшками

и глупо вытаращенными глазами, а среди них одна – черное платье со стойкой, прическа высоким валиком надо лбом, узкое и надменное лицо – будто из другой стаи. А родом, между прочим, из глухого полесского села.

Хоть и есть в роду невнятные семейные легенды о бабушкиных предках-шляхтичах Долгополо-Речицких, они кажутся мне мало похожими на правду. Впрочем, бабушка была прекрасна, ангелоподобна лицом и характером, но увяла, терпеливо перемогая безмужнюю нищету и поднимая троих детей. Смывшийся дед-гуляка по духу тянул на запорожского казака из тех самых, воспетых Гоголем, – семьи для него как бы не существовало. Возможно, сказывалась генетическая память – говорили, что его родное село когда-то основали переселенные запорожцы. Помню бабушку всегда грустной и строгой, в конце жизни не выпускавшей Евангелия из рук. Ты унаследовала красоту матери, подпорченную не только носом-бульбочкой, но и отцовским бешеным характером. Откуда добавились ясный ум, практическая сметка и любовь к книгам – бог знает. Три курса внезапно брошенного киевского филфака и еще год работы в глухой белорусской дыре, где приходилось делать все – вести драмкружок и выбивать продукты для пионерлагеря, кончились тем, что беглянку отыскал-таки робкий ленинградский офицер, размотавший твои следы от самого Киева и обожавший так преданно, как можно было обожать только королеву. Что ты нашла в нем, кто знает, – может, медвежий угол надоел, только укатила с ним в сторону Москвы и провела там лучшие и не лучшие свои годы. Отец учился в военной академии, мы жили в пригороде, денег не хватало, ты разрывалась между крошкой мной и тяжело больной свекровью, неласковой и крутого нрава. Терпеливо сносила придирки и делала уколы – перед смертью она тебя признала.

Мои первые осмысленные воспоминания связаны с цветниками, которые ты, председатель женсовета военного городка, разбивала на рыжей глинистой почве, чтобы придать хоть немного красоты скоплению трехэтажных уродцев. Помню твои красивые руки, перепачканные землей, корзинки и тазы с рассадой, недовольных вялых соседок – но даже их в конце концов удавалось заразить порывом и энергией.

Осталась старая фотография – улыбающееся лицо, рассада, джемпер и брюки. Тогда женщины брюк не носили.

Цветы цвели дружно, украшая унылое пространство, и хотя клумбы периодически вытаптывались отдельными несознательными элементами, ты всегда была начеку, рыхлила, подсаживала и яростно ругала мужчин, так и норовящих срезать угол и не глядя придавить нагута-линенным сапогом нежную зелень.

2. Чулок на люстре

Порядок в доме – это культ.

Ты умела сделать красоту из ничего, элегантную тахту – из пружинного матраца, нарядные занавески – из ситца, развести в горшках экзотические растения, удивить гостей изысканными блюдами, комбинируя скудный ассортимент продуктов военного магазина... Наволочки с шитьем, скатерти с мережками, расшитое узорами детское пальто из старого кителя... Растянувшаяся на много лет послевоенная разруха, казалось, только раззадоривала тебя, пробуждая одно умение за другим. У меня и слов тогда не было, чтобы как-то определить эту стихийную силу, дававшую всему вокруг расцвести и явиться миру на самом пределе возможной красоты.

Это сейчас я могла бы предложить формулировки, да и то не слишком точные. Есть люди, живущие жизнь как бы по касательной, не взаимодействуя с ее веществом, не влияющие на ее равнодушное течение, а есть другие – им всегда надо лепить, мять, красить. Эти руки всегда в земле, в побелке, исколоты иглой и красны от дешевого мыла, но вокруг все в цвету, все свежеевыкрашено и свежеевыстирано, крахмальное белье хрустит, а дети уплетают домашний пирог, не подозревая, что может быть по-другому.

Уже став постарше, я приходила в гости к подругам и видела столы с клеенками вместо скатертей, аляповатые покрывала, разнофактурную мебель, тусклые фланелевые халаты и тогда лишь стала понимать это чуть-чуть, ту малую величину, на которую легко сместить реальность, чтобы привести ее к состоянию более гармоничному. Но люди вокруг жили привычным бытом и ничего не замечали.

Тем не менее детство я запомнила только как сопротивление тиранству – ты, героически противостоящая хаосу, хоть и вершила борьбу в одиночку, требовала от других по крайней мере сочувственного внимания. Пафос преобразования действительности делал твой характер все более жестким: ты перестирывала за бабушкой не до конца отбеленные вещи, мобилизовывала отца на очередную передвижку мебели, а мою природную безалаберность пресекала и вовсе негуманными мерами. Забытый под стулом чулок вывешивался на люстру аккурат к моменту прихода гостей – ох и злыми же были мои слезы в детской комнате под басовитый хохот соседа!

Я всегда знала, что я «дрянь такая», потому что родилась другой и ничего не могла с этим поделать. Обида сидела во мне крепко, но протест реализовывался единственно возможным для «папиной дочки» способом – в школе я стала записной отличницей. Отцовский золотой аттестат служил примером для подражания и торжественно демонстрировался мне время от времени, но велико же было мое ликование, когда я нашла в запертых от меня в шкапулке бумагах твое свидетельство с тройками по математике! Значит, было что-то такое, чего ты не могла, а я могла, – радость моя выплеснулась до того бурно, что я, ничего не сказав вам с отцом, пошла и сдала экзамены в математическую школу.

3. Алый шелк

В тебе тлел свернутый в клубок огонь, и защита бог знает каких силовых полей не давала ему вырваться наружу. Пробой наступал неожиданно. Возможно, я, не подозревая о том, нарушала какие-то физические законы, пламя вырывалось протуберанцем и жгло все на своем пути. Иногда я знала за собой вину – поздно пришла домой или взяла из шкафа не ту книжку, но чаще даже предположить было трудно, в чем же промашка. Твоя подозрительность по части моих подружек несла на себе оттенок принципиальности – они должны быть «из хорошей семьи», но и здесь присутствовала некоторая непоследовательность. Понятно, что татарка Аська, жившая в бараке за нашим домом, вызывала яростное неодобрение своей «испорченностью» – возможно, сама мысль о барачно-коммунальном улье с фанерными стенками, не мешающими впитывать всю неказистую изнанку жизни, была тебе нестерпима, и я, застуканная с Аской на подоконнике в подъезде (а темы наших девчачьих разговоров были всегда благопристойны и сентиментальны), тут же получала обидную затрецину. Через дорогу стояли дома электротехнического завода, где жила половина девчонок нашего класса, но и эти подружки делились на разрешенных и запрещенных. Миловидная троечница Людочка была под запретом, потому что вокруг нее всегда крутились мальчики, зато плотная, с поросычьей мордочкой Ритка, троечница куда более закоренелая, вполне подходила в подруги, и мне даже позволялось ходить к ней домой – в двенадцатиметровую комнату, где из-за деревьев, затенявших окно, было темно и зелено, как в аквариуме. Клеенка с кругами от чайных чашек и фланелевый халат присутствовали и здесь, сигналивая не столько о бедности, сколько о неприязнительности, но все искупалось совершенно невероятной цыганской красотой Риткиной матери – ее фотографию дочь хранила вместе с портретами любимых киноактрис и сокрушалась, что не унаследовала ничего из материной внешности.

Мы с тобой никогда не разговаривали «по душам» – и теперь я только интуитивно могу определить движущие силы твоего характера, терпеливого и взрывчатого одновременно. Воз-

можно, нищее детство с сильно пьющим отцом, а затем и вовсе без отца в сочетании с природным умом и вкусом создали такую разность потенциалов, что только искры сыпались.

Понятно, что ты всю жизнь бежала от жизни не то чтобы бедной и некультурной, но косноязычной, утробной и непростроенной. Смутные смыслы и облики вокруг тебя должны были стать ясными, это длилась работа по проявлению предметов из окружавшего тумана, склеивающего их и сводящего к общему знаменателю. Вещь должна быть точной – как слово, как мазок кисти, как акупунктурная точка. История домашних мелочей всегда возвращает меня к сцене покупки капитаном Греем алого шелка – там точность выбора являлась условием успеха. Так же метко были выбраны тобою два китайских атласных покрывала благородного темно-розового цвета – во времена дружбы с Китаем экзотическую тряпку найти в магазине было нетрудно, тем не менее соседки обходились тусклыми жаккардовыми уродцами по причине их практичности, зато воздух в моей с братом комнате всегда дрожал живыми оттенками розового.

4. Рыцарские подвиги

Страсть. Конечно, в тебе кипела страсть.

Этот непонятный мне накал (совершенно очевидный: тронешь – обожжешься) возвышал тебя до уровня литературных или киношных трагических героинь, я чувствовала как бы свою причастность к Марии Стюарт или Маргарите Наваррской – во фрейлины меня, конечно, не взяли бы, но, может, разрешили бы стать маленьким пажом и расчесывать волосы по утрам. Этой процедурой я упивалась бы – ведь только потом поняла, как не хватало тактильных ощущений в детстве. Обнять, поцеловать, погладить по голове – такого у меня никогда не было, да и мыслей не возникало, что бывает по-другому. Никчемную и никудышную можно было только «строить» и, ткнув носом в неумение, заставить разразиться ливнем слез. Лет в семь я разорвала локоть любимого матросского платья. Мне была выдана иголка, нитка (впервые в жизни!) и строго сказано: сама рвала – сама зашивай. Вдеть нитку еще кое-как получилось, а дальше начался кошмар – она оказалась слишком длинной, путалась и рвалась, вместо шва бугрился грубый рубец, рукав уродовался все больше, а мне, хлюпающей, ты тут же рассказала сказочку про смекалистого солдата и неумелого дурака черта. Надо ли объяснять, что шитье я возненавидела и ненавижу по сей день.

Да, свои волосы ты мне причесывать не разрешила бы, как вообще избегала лишних прикосновений, но верность маленького пажа иногда проявлялась совершенно неожиданным образом.

Когда мы переехали в Москву, квартиру дали на две семьи. Сосед Пал Иваныч тоже служил военным, но не инженером, как отец, а начальником гаража. Его лоснящаяся багровая физиономия была не из приятных, но куда противнее выглядела узкая лисья мордочка жены, пышной блондинки Зинаиды. Стремясь «жить шикарно», на общую кухню Зинаида выплывала в облегающем парчовом платье, похожая на начищенный медный самовар, и ее золотые босножки на шпильках выглядели комично – казалось, спичечные ножки могли в любой момент подломиться. Победно поглядывая на твое домашнее платьице (сшитое, между прочим, не как-нибудь, а по выкройке из эстонского журнала «Силуэт»), сверкающая тетка вставала к плите и с упоением варила-парила-жарила в таких количествах, будто требовалось накормить роту солдат. Ты, по ее понятиям, была нищенкой и «драной кошкой», о чем Зинаида иногда сообщала с наглым видом, но вполне себе под нос, то есть как бы и не вслух. Однажды, впрочем, она уселась прямо напротив тебя, лепившей пельмени, и, оперев руки в сверкающие бока, уставилась в упор самым издевательским взором. Долетевшие в комнату визгливые интонации заставили меня поднять голову от очередного Дюма. Что она успела ляпнуть, я не знаю, но когда мое появление на кухне заставило ее несколько прикусить язык, ты уже была бледной

и готовой вспыхнуть. Я отреагировала мгновенно – вскипела, как неистовый гасконец, бабахнула табуретом и уселась прямо перед носом Зинаиды, вперив в нее не менее дерзкий взгляд. Толстуха выдержала минут пять, а потом убралась к себе, что-то бубня по поводу плохого воспитания.

В следующий раз, когда я, наслаждаясь отсутствием бабушки, густо намазывала в кухне батон вишневым вареньем, парчовая красавица опять завела себе под нос про «кошку драную». Тут я повернулась и членораздельно произнесла: «А ты – крыса!» – содрогнувшись от собственной наглости – обращения к взрослой на «ты» (при этом справедливость «крысы» у меня никаких сомнений не вызывала).

Официальная жалоба на нашу семью, в скором времени поданная Пал Иванычем в адрес начальника академии, содержала в перечне прегрешений следующее: «28 февраля их сын посмотрел на нас с презрением», между тем про дочь ничего сказано не было. Мне он отомстил по-другому. Я проявляла в ванной фото пленку, Пал Иваныч как бы ненароком щелкнул выключателем, и деньрожденные радости моей подружки были начисто уничтожены.

Твоя реакция на мои рыцарские подвиги была неоднозначной. Первый и единственный раз ты позволила мне увидеть себя слабой. Вероятнее всего, ты в защите просто не нуждалась – но мне-то виделось иное.

5. Бог есть любовь

Твоей матери исполнилось пятьдесят, когда она приехала в Загорск нянчить нас с братом. Теперь, рассматривая фотографии, я понимаю, какой же она была красавицей. Насколько ты не любила с нами гулять, настолько искренне бабушка предавалась этой радости. Военный городок стоял окруженный лугами и рощами. Вместо пыльной песочницы мы то путешествовали на «золотую полянку» – одуванчиковое поле, то собирали баранчики-первоцветы среди майских берез. Зимой она сажала нас в санки – путь вился вдоль темно-кирпичной монастырской стены, где располагалась папина секретная военная часть. На тускнеющем небе чернели контуры башен с флюгерами – монахами, дующими в трубы, дырчатые, как траченными молью; мне нравилось думать, что по ним лупили пулями, но скорее всего их просто изъела ржавчина. Сейчас мне кажется, что то были не монахи, а ангелы. Но опознать ангела в черном и дырявом я тогда вряд ли могла. Долгий путь, снежное блаженство – как же мы радостно визжали, когда бабушка случайно опрокидывала нас в сугроб. Мне исполнилось шесть, брату – два.

Она излучала ровное тепло, у нее не было твоей безумной энергетики, которая завораживала и отталкивала, она всех оделяла тихой любовью, составлявшей главную часть ее существа, и неудивительно, что постепенно становилась все более религиозной. «Бог есть любовь», – повторяла она нам, и взгляд ее с годами отлетал туда, где есть решение всех проблем.

Твоего отношения к ней я не понимала. Ты дерзила своей матери, как девочка-подросток, ты всегда хотела доказать свою правоту, лицо твое некрасиво искажалось... Бабушка не обижалась и с неизменно спокойной улыбкой уходила в будничные дела, оставляя тебе твое личное поле битвы – непрекращающуюся борьбу за красоту. Временами она совершала досадные промахи – например, гладила утюгом никогда не виданные ею ранее капроновые чулки, превращая их в липкие комки с отвратительным запахом, и сама же плакала от своей глупости, но зато ее деревенская кухня – пышные стопки оладьев или пшенная запеканка, которую я ни разу так и не смогла повторить, утешали нас ежедневно. Ты и тут сердилась – я становилась все более пухлой, а девочкам нельзя полнеть.

Со временем дерзости перешли в откровенную агрессию и раздраженные крики, я затыкала уши, защитить бабушку не умея и искренне не понимая, почему она не обижается.

Но бабушка нашла всеобъясняющую формулу: «Разве она виновата – это в нее бес вселился. Гордость это. Молиться надо».

Похоже, она вспоминала деда.

6. Верноподданный

Папа – офицер и красавец, характера благородного и деликатного. Человек слова и чести, абсолютно не способный лукавить или обманывать.

Бабушка – а он ее любил и звал мамой – считала его верующим, хоть он и обижался непритворно на эти слова. Все-таки член партии... Но мне она не раз повторяла – да, да, верующий, только сам об этом не знает, ангельская душа. Тебя же всегда раздражали его лояльность и правильность – себя ты считала подчеркнута безыдейной. «Верноподданный», – цедила иронично, и на это он обижался еще больше. Вряд ли простодушный военный был силен в идеологии – скорее воспринимал ее как нечто, данное свыше, обязательное, как погоны, и особо не вникал, предпочитая заниматься своими оптическими электронными приборами и индикатрисами рассеяния. Диссертацию он защищал поздно – уже студенткой-первокурсницей я помогала ему чертить графики к защите.

Свидетельства его любви ко всем нам были скромны, но трогательны. Помню, как новогодним утром мы разбираем подарки под елкой – к каждому прикреплен аккуратный параллелограмм из ватмана с вычерченной цветной тушью двойной рамкой и каллиграфически выведенным – Леночке, Маришке, Лесику.

Да, ему явно не хватало сумасшедшинки, безуминки, непредсказуемости – теперь мне кажется, тебя раздражало именно это. Он безропотно сдал тебе все бразды правления и говорил: на работе я полковник, а дома – ты генерал. Держа мужа в делах всегда «на подхвате», ты считала его совершенным тряпкой, но, надеюсь, ценила за верность и терпение. Вспышки твоего гнева нередко вгоняли его в состояние потерянной виноватости – надо ли объяснять, что мысленно я была на его стороне. «Всегда за него! Отцовская дочка!» – кричала ты, особенно разозлившись. Может быть, это была ревность? Но почему?

Да, отцовская дочка.

Деревенский, да что там – даже хуторской мальчишка, привезенный в восемь лет в Питер и до сих пор помнящий свой первый класс – надо было ходить три километра одному через лес, побаиваясь волков, – в городе учился как одержимый и получил упомянутый золотой аттестат. Учителя ему, видно, достались удачные – будучи по складу ума человеком совершенно техническим, поглощенным чем-то атомно-ракетно-секретным, он мог вдруг прочесть наизусть что-нибудь из классики или ввернуть в разговор фонвизинскую цитату. Легкость в учебе я унаследовала от него, но это не главное. Путешествовать по географическим картам, решать математические головоломки, мастерить луки и стрелы – он подарил мне самые яркие радости детства. Однажды сделал деревянные рапиры и давал нам с братом показательные бои. Брат не особенно проникся, а вот я, подсунув предварительно подружкам «Трех мушкетеров», сагитировала их записаться в фехтовальную секцию при спортклубе МЭИ. Толстушка Ритка без обид приняла на себя роль Портоса, я же была единогласно признана Атосом за свои представления о верности и чести – чья тут заслуга, если не папина?

Еще мы с ним любили смотреть в звездное небо и искать созвездия.

Книги мне приносил тоже он – Майн Рид, Фенимор Купер, Жюль Верн. Мы с братом потом разыгрывали по ролям какого-нибудь «Оцеолу, вождя семинолов». «Занимательную физику» читали вместе. Приключенческий запой кончился, когда учительница музыки принесла мне «Алые паруса» – я чуть не тронулась умом от восторга. Тогда папа подарил мне шеститомник Грина.

Кажется, я только теперь сообразила, что меня воспитывали как мальчика.

Или я сама выбрала себе мальчишеское воспитание, со всей его внешней увлекательностью, азартом, но отсутствием магии и глубины?

Почему ты ничего не захотела передать мне из женского кокетства, женской мудрости, женской силы? Не хотела делиться? Или поняла, что я – другая и не стоит даже пробовать?

Последствия я расхлебываю по сей день.

7. Кукла

Я любила тебя безумно, но как мне не доставало ответной любви!

Нельзя сказать, что ты меня не баловала, напротив, устраивала хоть и редкие, но зато ослепительные подарки – чаще всего платья, так выделявшие девочку из компании подруг. В облаке розового гипюра первоклассница казалась себе сказочной принцессой – жаль только, нельзя было надевать это каждый день. Непрактичность наряда явно не стоила вложенных трудов, но тебе доставляло удовольствие просидеть ночь за шитьем – и утром, когда я открывала глаза, висевшее на вешалке чудо доводило меня до слез своим совершенством.

А торт – господи, смешно-то как, но я помню тот торт!

Персональный, именной – надпись белой глазурью по розовой, поздравление с девятилетием. Кажется, до сих пор могу пересчитать лепестки украсивших его ромашек с сердцевинками из кураги – память сфотографировала их четко-четко. Они выглядели стильно и изысканно – не то что маргаритовые розы из угловой булочной. Я обмирала от благодарности.

Белый школьный фартук тоже отличался от магазинных сложным кроем, кружевами и бабочкиной воздушностью. Сейчас бы я, возможно, уловила в нем намек на фривольность горничной или заячьей ушки танцовщицы у шеста, но тогда он казался мне несказанно красивым и снова отличал от подружек, с восхищенной завистью глядящих на меня из унылых швейпромских изделий.

Мой единственный в жизни карнавальный костюм был совсем настоящим, будто не однократным – Красная Шапочка вышла к школьной елке в наряде этнографически-сказочном, даже черная атласная жилетка со шнуровкой шилась как бы не на один день, словно ей уже приготовлено место в массивном деревянном сундуке с расчетом на череду будущих поколений. Сама же шапочка выкроилась удивительно ладно, и кто бы мог догадаться, что окончательному варианту предшествовали три пробных черновика, сделанных из старой простыни. Разве что деревянных башмаков ты выдолбить не пыталась – но это было бы уж совсем излишеством.

Однажды в магазине немецкая кукла, стоившая немалых денег, так поразила меня трогательным выражением рта, приоткрывающего крошечные молочные зубки, что я месяца два только и думала о ней и все-таки получила ее на день рождения, но с одним условием – она должна была лишиться коротенького канареечного платья, открывающего фарфоровые коленки с ямками, и взамен облачиться в длинное, сшитое из того самого гипюрового облака, для которого я стала так безнадежно велика.

Да, так и говорили соседки – мать одевает ее, как куклу.

Ну конечно – ты считала меня абсолютно неженственной.

Или, может, у тебя в детстве не было кукол.

8. Серебро и бирюза

Лучше бы ты со мной поговорила.

Бог знает, какие фантазии бродят в голове у подростка, читающего много и бестолково, какая странная складывается картина мира у тепличной девочки, строго охраняемой от дворовых компаний. Толика здравого женского смысла, возвращение с небес на грешную землю

мне не помешали бы. Сейчас я думаю, что женская азбука должна передаваться из поколения в поколение – не набор банальностей о жизни, но знание тайных истин, ходов и целей, прикладная магия, техника безопасности. Будто ты должна была меня предупредить о чем-то, связать с реальностью, со средой – ведь пример романтических героев сделал меня абсолютно незащищенной, и последующий болезненный опыт двух замужеств – верное тому свидетельство.

Никогда мне не приходило в голову, что ваши с отцом отношения – это отношения любви, той, что примагничивает друг к другу мужчину и женщину. За пуританским фасадом существовал некий симбиоз, взаимная поддержка, тонкое равновесие сил и слабостей – но никогда я не видела, чтобы вы обнялись, поцеловались, просто взяли за руки. Твое кипение, безумные шквалы и брызги пены гасились его уступчивостью и покорностью, как бочкой ворвани, вылитой в штормящий пролив, – одного этого хватало, чтобы семейный корабль не сел на рифы. Бури повторялись и только усиливались с возрастом – и разве мне приходило в голову доискиваться, что было их причиной?

Однажды троюродная сестрица, дева довольно развязная, но обожавшая тебя подобно всем провинциальным юным родственникам, занесенным в Москву попутным ветром, сказала: «По-моему, у нее что-то не в порядке с сексом». Я задохнулась от негодования: как можно о тебе – такое! Если бы я передала эти слова тебе, ты бы решительно отказала ей от дома.

Кстати, с юными родственниками ты разговаривать очень любила – вечерние посиделки превращались в подобие научно-популярных клубов. Темы – самые животрепещущие. Естественно, солировала ты, молодежь всегда оставалась как бы на подпевках, в восторге впитывая космологические гипотезы и экстрасенсорные штучки, почерпнутые тобой из журнала «Наука и жизнь». Папа никогда не пытался вставить слово, хотя в лежащих на его столе «Философских основах современной физики» наверняка нашлось бы что-нибудь поинтереснее, – он притворно зевал и уходил спать, как положено, ровно в одиннадцать, оставляя нас раскалять кухонный воздух еще полночи. Так я услышала о твоей бабке по отцу, то есть моей прабабке Насте. «Настоящая полесская колдунья», – шутила ты, но все же это было не вполне шуткой. По крайней мере Настя не только лечила травами, но знала заговоры и вроде бы даже передала тебе какие-то секреты вместе с нательным крестиком – бирюзовая эмаль на серебре.

Ты не надевала его, но хранила в заветной шкатулке, обещая, что после твоей смерти он достанется мне. И все же в последние несколько лет своей жизни стала носить, но обещание оставить его мне – повторила. Вправду ли вместе с ним тебе передались бабкины секреты, мне уже не узнать, но магическая сила у тебя была. Ты умела общаться с растениями – сколько раз тебе удавалось вытащить заморенные росточки буквально с того света, а после они благодарили тебя, расцветая так буйно, что соседки прибежали смотреть, не узнавая в красавцах своих чахлах питомцев, выдранных бестрепетной рукой и брошенных умирать в канаву. Мне же никаких родовых секретов, тайных женских умений ты так и не передала – видимо, не обнаружила во мне признаков избранности, той особой породы, без которой процедура передачи бессмысленна или вообще опасна.

Смерть твоя была внезапной, тебя так и увезли из дома с этой семейной реликвией, и назавтра я умоляла санитаров морга вернуть мне обещанное, заменив крестиком с моей шеи. Санитар долго отнекивался, бурчал, что не положено, но я чуть не плакала, и обмен состоялся.

Дома посмотрела на теплое потемневшее серебро, на чуть треснутую эмаль и вдруг, испугавшись, что сделала что-то не так, снова почувствовала себя виноватой.

Но ты же сама мне обещала, правда?

9. Бутылочное стекло

Я не знаю, что ты думала обо мне в самом деле.

Но вслух говорила, что я дура, уродина и лентяйка.

Рост метр шестьдесят один – ну просто лилипутка! Твои же метр шестьдесят четыре считались ростом Венеры Милосской, но они тоже тебя не устраивали – тебе нравились совсем высокие девочки. Если бы я была как Валя! Валя жила в нашем подъезде. Невзрачная, волосы какие-то серые, и от ее метра девяносто веяло унынием. Будь она баскетболисткой, пружинкой – другое дело, но мне она казалась вялой и слегка припорошенной пылью. Валя, кстати сказать, очень переживала, что не может найти себе подходящего по росту мальчика, но ты твердила, что дело не в мальчиках.

А еще грация у меня – как у слона в посудной лавке. И все валится из рук. Ну да, даже макароны пригорают. И я не могу прострочить прямой шов, из-за чего мне обеспечен вечный трояк по домоводству.

Ты всегда оказывалась абсолютно права, но это не уменьшало моей обиды, терзая и без того хлипкое чувство собственного достоинства.

Однажды я поинтересовалась у бабушки, была ли ты такой умелой в детстве. Та улыбнулась и сказала – нет, она только книжки читала. Даже тарелки не вымоет. Вот младшая – та помощница, а эта – нет, все время с книжками. Но мы ее жалели, она ж у нас так болела, так болела.

В шесть лет, бегая босиком по пыльной улице, ты пропорола себе ногу осколком бутылочного стекла. Сельская больница, плохая дезинфекция – короче, кончилось острым заражением крови. Плохая кровь скапливалась, вздуваясь на теле волдырями, их вскрывали и выпускали зараженную субстанцию наружу, не надеясь, впрочем, на благополучный исход. Бабушке сказали, что ребенок не жилец. Но маленькая девочка оказалась сильнее смерти, хотя сил на эту борьбу было потрачено слишком много. Ты разучилась ходить и провела пару лет в кровати. Не пошла вовремя в школу и догоняла своих ровесников потом. Но читала, читала, читала... И никогда не рассказывала мне, о чем думала, глядя в окно на детскую бегодню, которой могла бы лишиться насовсем. Может быть, именно тогда ты и решила превратить свою жизнь в плацдарм вечных боев за красоту.

Уродливые шрамы остались навсегда. Неровные десятисантиметровые надрезы – на бедрах, на спине, на предплечьях. Я видела их с детства и воспринимала как само собой разумеющееся. Моя мама – самая красивая. Но помню, каким мучением для тебя было выйти в купальнике на пляж: тебе казалось, все только и смотрят на это уродство.

Папа их тоже не замечал.

10. Капитаны и девушки

Наверное, ты хотела научить меня быть красивой, но ничего не получалось.

Чудесные платья, стоило отвлечься, начинали сидеть криво, гладко расчесанные на прямой пробор волосы лезли из прически непослушными патлами, вдобавок я слегка косолапила и не умела держать спину. В отчаянии от собственной неуклюжести я, с твоего одобрения, записалась в танцевальный кружок Дома пионеров, где целый месяц честно и деревянно выполняла команды, как солдат на плацу, но не выдержала борьбы с собственным телом и сбежала в кукольный театр, где с упоением озвучивала роль лисички-сестрички – вдохновенно импровизировала, добавляя в текст собственные реплики и чувствуя себя совершенно в своей тарелке. Ты была в бешенстве.

Увлечение фехтованием тоже тебя злило – эта уродская белая форма с сетчатой яйцеобразной маской – не девочка, а головастое насекомое, – это странное скаканье с железом, и никакой грации. Я-то, напротив, чувствовала себя победителем, как во франко-итальянском фильме, где мушкетер в белой блузе с развевающимися рукавами и буйно-черными кудрями честно отражал атаку коварных гвардейцев, спасая трепетную Констанцию.

«Есть упоение в бою...»

Кстати, о стихах. Отец помог влюбиться в Лермонтова. Раннее, детское – сидит на краешке моей кровати и читает: «По синим волнам океана, лишь звезды блеснут в небесах, корабль одинокий несется, несется на всех парусах». Так они и впечатались, так и полюбились – океаны, звезды, паруса.

А ты, филолог, не читала мне никогда.

Папа, питерский мальчик, не мог не бредить кораблями и поступать хотел только в Корабелку, вовсе не мечтая стать военным. Жизнь распорядилась иначе, но о кораблях он всегда говорил много и радостно. Я откопала в школьной библиотеке неизвестно как туда попавшую книгу о парусах и скоро выучила всю парусную оснастку. А у Грина мне нравилось вовсе не то место, где Ассоль видит «Секрет» и, задыхаясь, бежит навстречу счастью. Моей главной фразой была другая: «Начинается отделка щенка под капитана».

Ясно, что первые мои стихи были тоже о капитанах и парусах.

Я очень хотела показать их тебе, но ты сама, производя тщательный досмотр моих ящиков, нашла рыжую тетрадку и фыркнула: «Опять занимаешься ерундой!» Пришлось перепрыгивать.

А папе показать я не решалась.

Помню, какую длинную балладу писала на уроке алгебры – чайки, клипера, бушприты, бим-бом-брам-стенги. И несчастная любовь, конечно, – в финале недооцененный красавицей капитан успокаивается на морском дне. «Девушки в руку зажал он портрет, чайки домчат ей прощальный привет». Понятно, что я была в этом сюжете не девушкой, а капитаном. Вернее, пока только щенком.

Тщедушный рыжий математик Чернобровкин, бархатно подкравшись, отобрал листочки и унес в учительскую. После уроков вернул, но не стал ругать, а покраснел и смутился: «Я думаю, девочка, для тебя стихи – серьезно».

У него была смешная привычка называть всех нас просто – мальчик или девочка.

* * *

На бетонированной площадке между дачным хозблоком и летним душем разложена складная плитка, краснеет пузатый газовый баллончик. В эмалированном баке кипятится белье.

Тридцатиградусный влажный июль. Пахнет паром и персолью.

У нее все должно быть белоснежным – рубашки, наволочки, кухонные полотенца.

Под взглядом высматривающей из-за смородинового куста соседки, которая выражает свое несогласие ехидным подмигиванием и кручением пальца у виска, она непреклонна – размешивает кипящее варево бельевыми щипцами. По лицу стекают струйки пота, дышит тяжело и неровно. Я тоже при деле – таскаю ведрами воду из речки: водопроводная для стирки не годится, ржавые трубы придают ей желтоватый оттенок, незаметный для глаза, но роковой для сияющей белизны.

Почему в жару? Почему не вечером, по холодку? Иногда мне кажется, что она намеренно умножает количество трудностей, что бои за красоту и порядок можно вести с меньшими потерями, но у нее своя логика. Чем труднее процесс, тем значимее победа, тем праздничней результат. Соседки тоже бегают на речку с тазами, но давно уже сменили белое на пестренькое, чтоб никакого кипячения. Она же со своим баком и ритуальными щипцами выглядит даже не оплотом консерватизма, но хтоническим божеством, производным глубинной магмы, что невидимо раскаляется под холодными корками континентов. Можно и не помнить об огненных реках, но что-то внутри у нее отзывается на перемещение мантийных энергий – сродни точному геофизическому прибору. Отдувая со лба прилипшие волосы, она воро-

чают в кипящем вареве своей веселкой, простыни вместе с клубами ядовитого пара плюхаются в подставленный таз.

На речке я с опаской подростка, нарушающего запрет, сначала гашиу свое раздражение, плавая в прожитой ледяными ключами воде – она мгновенно вытягивает жар и сводит кожу мурашками, – и только потом полощу. Пожалуй, процесс более приятный, чем вахта у бурлящего котла, хотя руки начинает ломить от холода. Привычные угрызения совести тут как тут: как же она справляется без меня, в свои почти семьдесят, как полощет с этих покривившихся и скользких мостков, как выносит боль в суставах, когда вода уже осенняя?

Всегдашнее упрямство или сила воли, безумие или вкус победы?

Я приезжаю редко, с тайной надеждой уединиться с книжкой в яблоневои тени, расслабиться, размагнититься, расплзтись в стороны и слиться с летом – а потом собраться в целое обновленной. И никогда не получается.

– Опять бездельничаешь? Плохо отполоскано, нет запаха свежести!

Возвращаюсь на речку.

Между прочим, вчера мы поссорились, сегодня она разговаривает холодно и отрывисто. Моему пятнадцатилетнему чадо она строго-настрого приказала быть дома в половине одиннадцатого, хотя дачные подростки колобродят чуть не всю ночь, жгут в лесу костер, слушают чудовищную музыку, курят и вообще отрываються на полную катушку. В назначенное время он не появился, и я его понимаю – не хочется быть белой вороной, друзья-подруги на смех поднимут – как не щадить пубертатной гордости. В одиннадцать она вскипела и заперла дом изнутри на ключ, отправив меня спать. Чадо появилось в половине двенадцатого, подергало дверь и устроилось на крыльчке. Я слышала его недовольное сопение, как бы даже чувствовала спиной ночной холод сквозь футболку и боялась, что он простудится, а пуще того – повернется и уйдет; лично я бы сама так и сделала. Через полчаса материнских мучений я на цыпочках спустилась вниз и тихо повернула ключ. Нахохленный подросток молча проскользнул мимо и забился под одеяло. Тут вспыхнул свет – она стояла на пороге своей комнаты, как разъяренная фурия. Дальнейший монолог можно не пересказывать. Я даже не огрызалась – боялась, что она вытащит его из постели и выставит вон.

Сегодня, после стирки, мы поливаем огуры и молчим про вчерашнее. Естественно, опять руки у меня не из того места – попала водой на стебель, это губительно для нежной кожицы, нападет мучнистая роса.

Я не жалею – все-таки обязана помогать постаревшей матери. Просто самооценка снова падает до нуля, как ртуть в градуснике, – я ничего и никогда не могу сделать правильно. Папина дочка.

Выпавший из поля зрения папа, вздыхая, искоса наблюдает за воспитательным процессом, а потом, воспользовавшись моментом неожиданной свободы, прячется за сараем с кроссвордом. Даже в старости красив – седина, синие штаны на лямках, как у американского фермера, клетчатая ковбойка, – она следит, чтобы выглядел как следует. Никаких растянутых треников и старых армейских рубах.

Вечером начинают приходиться гости – соседки задушевночат с ней на крыльце, внуки и внучки крутятся тут же, носятся по газону. Специально для них припрятан пакет с конфетами – она оделяет всех «Белочками» и «Мишками». Я то и дело шастаю мимо них с ведром, полным свежесвыдранных сорняков, и ловлю обрывки разговоров. Неблагодарные дети – главная тема. Мне жаль этих усталых женщин, полных невыговоренных обид и увядших надежд. Она выслушивает их всех, ободряюще смеется и закуривает одну папиросу за другой. Когда я подхожу и машинально вытираю об себя испачканные глиной руки, насмешливо говорит: «Ну посмотри на свои штаны! И в кого ты у меня такая кулема?» Женщины смеются. Я заливаюсь краской и вдруг понимаю, что в свои немолодые годы чувствую себя проитрафившейся девочкой.

Может, она специально держит меня в тонусе? Ощувив холодное дыхание старости, попав в ее безжизненные пустыни, которые невозможно пройти насквозь, она не только сама отмахивается от убийственной реальности, но и оттягивает ее наступление для меня?

На перилах лежит моя свежая книжка – она что, демонстрировала ее соседкам? Вот еще новость!

Темно. Во мраке светится белая блузка и папиросный огонек. Я примирительно говорю – давай вместе покурим.

– Ты что? – вспыхивает она. – Курить? При матери? Ну, нахалка!

11. Уроки и успехи

Учить ребенка музыке – это красиво.

В музыкальную школу меня не приняли, однако дома появилось пианино, а вместе с ним приглашенная учительница Людмила Николаевна, дама хрупкая, с горбоносим профилем, сухими красноватыми пальцами, в старомодном кружевном воротничке. Ты сочувствовала ей – она осталась без родителей и тянула на себе парализованных бабу с дедом, зарабатывая на жизнь частными уроками. Завести свою семью и речи быть не могло. Въедливо и пунктуально, никогда не жалуясь тебе на мою полную профнепригодность, она следила за моими попытками овладеть фортепианными премудростями, сидеть прямо и не путать пальцы. Мне нравилось обучение до тех пор, пока я не осознала разницу между собственным тупым разучиванием по нотам и легкими импровизациями приятельницы Тома. Тома закрывала глаза и улетала – проходил час, два, пальцы бегали по клавиатуре, что-то под ними нежно пело или грозно вскипало, и я абсолютно не понимала, как она это делает.

Ты же верила, что усидчивость решает все проблемы, и указывала мне на крутящийся табурет, засекая время – не меньше двух часов в день. Точно так же ты мучила меня чистописанием в первом классе, привязывая за косы к спинке стула – чтоб держала осанку. Почерк и в самом деле выработался красивым, но так похожим на папин, каллиграфический от природы и возникший без всякого насилия, что я сомневалась в необходимости столь жесткого тренинга. Впрочем, до сих пор, когда спешу или нервничаю, я сбиваюсь на твой, немного корявый, кривой и чуть летящий.

Ясно, что дальше «Полонеза» Огинского и «Лунной сонаты» дело не пошло. Неужели ты не видела, что я не чувствую тайного устройства музыки, что могу только копировать и повторять, оставаясь вечной троечницей... Это ощущение невыносимо. У меня не было музыкального слуха. Почему ты не отдала меня в литературный кружок или художественную школу, где я зажглась бы изнутри? Почему ты и знать не хотела, куда меня несет моя природа?

Господи, может, ты просто мечтала о пианино в детстве?

Отбарабанив для гостей «Вальс» Грибоедова и не сняв очередное нарядное платье, сиреневое в мелкий горошек, я убежала на улицу, где около трансформаторной будки с черепом и костями сидела веселая компания, а дружок моего брата Мишка, уморительно кривляясь подвижным лицом, пел Окуджаву, подражая самому Булату, изредка заглядывавшему в их дом. Я слушала, как сцепляются друг с другом слова, как интонация заставляет различать то, что стоит за словами, как точная химическая пропорция бесшабашности и грусти заставляет биться что-то внутри. У Мишки был талант передразнивателя – он воспроизводил все нюансы абсолютно точно.

Кстати, поэтом он стал раньше меня.

12. Как Зоя

Телесные наказания – эффективнейшее средство воспитания. Так считают многие, и не только родители – даже знаменитый врач и педагог Пирогов настаивал на школьной порке.

Что уж говорить о нашем детстве... Времена были суровые, нравы простые – моих друзей, особенно мальчишек, отцы лупцевали почем зря, и часто это слышно было даже через стенку. Никто из нас, впрочем, не считал это надругательством над личностью, чаще мы даже хвастались друг перед другом, демонстрируя синяки или полосы от ремня, а подруга Люба, председатель совета отряда, не только переносила воспитательные процедуры со спартанской стойкостью, но даже ценила их как очередной способ закалки воли.

– Ну бей, бей! – кричала она матери. – Я буду молчать, как Зоя Космодемьянская! – после чего терпела, не пикнув. Мать плакала и бросала ремень.

За что приходилось ее наказывать, мне было совсем непонятно – проступок и Люба просто не могли существовать в одной плоскости, ее пылкая принципиальность уважалась всеми, недаром же мы выбирали ее на этот пост без всяких альтернативных кандидатур. Теперь я знаю, что взрослые могут вспылить от совершенной мелочи – и чаще всего от непочтительности, которую усматривают в дерзко поднятом подбородке и твердом взгляде.

Понятно, что от отца мне не доставалось никогда, зато от тебя – часто. Да и поводов я давала предостаточно, например мы стащили с Асей папиросу «Беломор» со стола учителя по труду и вместо шварканья напильником в слесарке (до чего же я ненавидела эти уроки из-за отвратительного металлического запаха!) курили в школьном туалете, обмирая и торжествуя. Бывало и серьезнее – как-то, прождав полчаса опаздывающую учительницу музыки, я улизнула гулять, но в дверях подъезда столкнулась с ней нос к носу. Какое смещение произошло в тот момент в моей голове, я объяснить не могу; поздоровавшись самым вежливым образом, я шмыгнула мимо нее на улицу и дунула в соседний двор. Замотанная Людмила Николаевна, погруженная в свои мысли, машинально кивнула, но, наверно, не сообразила, что идет именно ко мне. Вернувшись, я застала дома следы чаепития – целый час, пока бабушка безуспешно разыскивала меня во дворе, ты утешала музичку конфетами и чаем, а та сквозь слезы рассказывала о своей незадавшейся жизни и о сегодняшнем неудачном дне, последней каплей которого стало мое хамское «здрассте!». В тот раз наказание было явно заслуженным, но чаще причиной твоего гнева становилось что-то другое, более эфемерное – подозрение в мнимом неуважении или скрытой издевке.

Офицерский ремень и тяжелая, хоть и женская, рука – сочетание не из самых приятных, притом мне явно не хватало Любиной уравновешенности – в момент экзекуции я и не думала молчать, а только упорствовала в своей правоте, отчего твои удары становились всё яростней. Было ли мне больно – вот уж не помню, а что обидно – так это всегда. Папа страдал в отдалении, приговаривая: «Ленуся, Ленуся, успокойся!» – но не пытался отобрать орудие наказания. Однажды после сеанса дрессуры я хлопнула дверь и рванула на улицу. Летний ночной воздух несколько успокоил меня, но, прослонявшись час вокруг дома, я вдруг ощутила полную свою ненужность и какое-то совсем уж космическое одиночество. Так и хлопала носом на скамейке, держа в поле зрения дверь подъезда, пока не увидела отца, выходящего на поиски. Уговаривать меня долго не пришлось, хотя я и поломалась для виду. Но, вернувшись, удивилась – в квартире темно, а ты уже давно спишь. Или делаешь вид.

Как-то я огрызнулась на твое замечание – ты схватила попавшийся под руку рубанок из детского набора «Юный столяр», и он, просвистев над ухом, шархнул в стенку, оставив в ней изрядную вмятину. Я не испугалась, но мне до сих пор интересно, что бы ты делала, если б не промахнулась?

И все же к физическим наказаниям я относилась спокойнее, чем к моральным. Однажды двум счастливицам достались пропуска на трибуны Красной площади в день пионерского парада девятнадцатого мая – Люба получила его как председатель, а я – как отличница. Под твоим присмотром я наглаживала пионерскую форму – юбка уже была готова и разложена на диване, но, трудясь над блузкой, я оставила утюгом рыжую подпалину на рукаве. Обида была кромешной – казалось, жизнь кончится, если я не попаду на праздник, и только ты могла мне помочь, ты ведь всегда что-нибудь придумывала, как фея из сказки, а Золушке всего лишь требовалось переждать шквал справедливых замечаний, издевок и ударов по больному месту. Так ты и язвила – а я стояла и терпела, такая уже большая дылда во фланелевых розовых трико, и почему-то именно эта полудетость делала унижение невыносимым. Потом ты извлекла из шкафа свою парадную блузку, вышитую и с мережками, мою тайную мечту, и протянула мне – хоть и не форменная, с галстуком она смотрелась вполне чинно. И уже глядя на ровные колонны ликующих пионеров, я все еще не могла избавиться от свинцовой тяжести, только облако пущенных в небо воздушных шаров освободило меня – будто мне разрешили взлететь вместе с ними.

Но самым жестоким наказанием было молчание – ведь ты могла не разговаривать со мной неделю, другую, третью, тогда воздух в квартире будто наполнялся электричеством, искрил, дышать было трудно, я чувствовала в этом какое-то искривление пространства, при котором будто проваливалась в щель другого измерения или просто переставала существовать. Ничего невыносимее я не испытывала никогда, мне казалось, что дикая тоска просто разорвет меня изнутри, и хотелось просто быть, любой ценой доказывая свое присутствие в мире, – мыть посуду, разучивать фортепьянную пьеску, решать физтеховскую задачу. Когда ты наконец снисходила до общения, я сразу чувствовала себя сдутым мячиком, у меня даже на радость не хватало сил.

Если ты бывала в хорошем настроении, то спрашивала – разве я так уж сильно наказываю тебя? И вспоминала буяна деда – как приходил пьяным среди ночи, будил детей и кричал: «А ну, делать уроки, живо!» – и расстегивал ремень, и отшвыривал бабушку, повисавшую на руке, и приходилось проводить остаток ночи у соседей, а чаще на улице, и тогда хорошо, если зимой успеваешь взять с собой теплые вещи.

– Что ты чувствовала тогда? – спросила я.

Ты ответила:

– Унижение.

13. Закрытая позиция

Ты же не могла не любить меня совсем, правда?

Но никогда не выдавала себя – ни словом, ни взглядом.

Ощущение нелюбви убивает человека. Когда-нибудь я должна была сорваться. Роль дерзющего подростка – не моя роль, но единственно возможная в отсутствие другого выхода. Отличница с тройкой по поведению – что еще оставалось? Меня часто песочили на педсоветах, но ответчиком всегда был папа – в старших классах ты в школу не ходила принципиально. Вот в младших – да, и когда в конце учебного года мне вручали грамоту за отличные успехи и примерное поведение, к каждому такому выходу ты готовилась два часа, наглаживая парадные платья и завязывая мне огромные банты. Тебе нравилось мной гордиться – кажется, весь год я училась в ожидании этого дня и чуть заметного одобрения в твоих глазах.

Заканчивала я в матклассе. Твое давление на меня усиливалось: дни рождения, походы – все подвергалось контролю, ничего было нельзя, одноклассники смеялись и сочувствовали. Я мечтала о поступлении в институт. Теперь мне хотелось быть дальше от тебя, независимей.

Ты что-то твердила о филфаке, но моя любовь к географическим картам и стремление к свободе заставили выбрать геологию, и только МГУ.

«Девчонки из геологоразведки...» – песенка такая была популярная.

Когда-то, десятилетнюю, папа повез меня смотреть салют на Ленинские горы. После салюта мы пошли мимо подсвеченных фонтанов к главному зданию, к высотке, которая сияла в темноте. «Можно потрогать?» – спросила я. Мы подошли и вместе потрогали стену. «Буду учиться только здесь!» – решила я, имея в виду, конечно, астрономию. И вот теперь легко поменяла ее на геологию. Если нельзя сбежать на Луну – можно на край света. И факультет, кстати, оказался в той самой высотке.

Наши отношения походили на фехтование – парировать выпад, нанести укол. Я хорошо усвоила эту стратегию: скрещенные клинки, шаг вперед – шаг назад, терпение и упорство, закрытая позиция. Никаких репетиторов – сказала ты мне, я согласилась и вгрызлась в учебники. От меня искры летели – так хотела поступить, и ты не стала спорить, зато в самый разгар экзаменов затеяла ремонт, чтобы поступление не удалось. Но я стояла насмерть – сбежав от краски и побелки, сидела с учебниками на подоконнике в подъезде. Мишкины родители, отъехав на дачу, пожалели, оставили ключ от своей квартиры. Их книжные шкафы сводили меня с ума, я металась между учебниками и первым изданием Цветаевой, поэтами Серебряного века и Буниным – ничего подобного не было ни дома, ни в школьной программе. Как я отрывала себя от них, заставляя зубрить билеты, – это отдельная песня.

Математику сдала с ходу. По химии меня экзаменовали два ехидных аспиранта, и когда я им бодро отрапортовала про пять способов получения спирта, они вкрадчиво спросили – а шестой? Я съежилась в ожидании провала, они же, хохоча, завопили: табуретовка! Чуть не расплакалась, но пятерку получила. Конкурс был – двенадцать человек на место, но я прошла. Ремонт в квартире закончился. Я ликовала, ты злилась.

Теперь ты меня упустила.

14. Мусорное ведро

Я пыхтела, как паровоз. Приставала к папе, чтобы он научил меня лихо брать интегралы, лезла к нему с лабораторками по физике, он вправлял мне мозги и все ставил на место, премудрости геодезии мне тоже помогал осваивать он. Ты не могла помочь ничем – только ревновала.

Я с упоением уезжала на практики, потом в дальние экспедиции – на два месяца, на четыре, почти на полгода. Однажды, когда вернулась из забайкальских странствий, на пятом этаже безлифтовой хрущобы ты открыла дверь чумазому и обветренному существу, рванулась помочь, втащить через порог рюкзак с лазуритовыми образцами – и не смогла поднять, села на него и заплакала. Я же внутренне ликовала.

Потом у меня случилась любовь – но еврейский мальчик тебе не нравился так яростно, что мы с ним ни на что не могли решиться. А может, тебя раздражало эмоциональное поле: фотография под стеклом на письменном столе, пылающие щеки после телефонных звонков, любовные стишки, на которые я падала грудью, когда ты входила в комнату, – у меня была лихорадка, а что у тебя?

Я окунала лицо в подаренный букет и зарифмовывала какую-то девичью ерунду, когда ты ледяным голосом напомнила про мусорное ведро – в этом не было бы ничего странного, если бы не половина первого ночи. Мусоропроводы в пятиэтажках не предусмотрены, пришлось бы тащиться вдоль всего длинного дома, мимо скамеек с ночными выпивохами, а потом сворачивать за угол, где в кустах прятался контейнер. Хотя подозрительных типов могло и не быть, поскольку сеялся дождик, все равно перспектива перемещения по пустынному двору казалась неприятной. Я было запротестовала, но результатом протеста стала траектория,

по которой мой романтический букет вылетел из окна в мокрые кусты. Букета, естественно, было жалко, но еще жальче – себя.

– Почему сейчас, ночью? – заныла я.

– В доме всегда должен быть порядок! – отчеканила ты голосом, на фоне которого любая попытка протестовать выглядела смешнее цыплячьего писка. Понятно же, что не в мусоре дело.

Я отправилась, непринужденно помахивая ведром, но внутренне кипя. Конечно, ничего со мной не случилось, во дворе было пусто, никакой маньяк не караулил в кустах, я только промочила ногу, ухнув в темноте в асфальтовую выбоину из-за метнувшейся кошки, да еще одинокий прохожий проводил меня недоуменным взглядом, и все-таки мне чудилось, что я вязну в нелепом сне, где слова и предметы лишены привычных смыслов, а искаженная действительность коварно притворяется обычной и лишь какой-нибудь мелкий прокол, нечаянная улика сейчас докажут, что это всего лишь сон.

Когда я вернулась к подъезду, свет почему-то не горел. Вернее, горел только на пятом этаже, остальные тонули в темноте. Я вздохнула, шагнула во мрак и скорее почувствовала, чем услышала, что за мной кто-то крадется. Бежать? Делать вид, что ничего не происходит? Сердце бухало и отдавалось в ушах, лестница не кончалась, но я медленно поднималась навстречу свету последней лампочки, уговаривая себя, что все в порядке. Только на последнем пролете, где было посветлее, осмелилась обернуться – за мной, мягко и беззвучно ступая, шла огромная черная собака...

Когда ты открыла дверь, твоя улыбка вдруг показалась мне чужой и зловещей. Но я знала, что мне только кажется.

Правда же, это был сон?

15. Опять платье

Она больно задевала тебя, моя восторженная одержимость другим существом, мальчиком. Неужели матери всегда переживают так драматично?

В твои сорок пять в тебе оставалось столько неизрасходованной страсти, что хватило бы на пятерых. Любила ли ты отца той любовью, которая вместила бы весь этот пыл? Похоже, что нет. Других романов у тебя не было никогда – в этом отношении ты была принципиальной пуританкой. Чем объяснялись твои истерические вспышки – уязвленной гордостью, подсознательной завистью, тщетным соперничеством с юностью, кошмаром нереализованности? В платоническую природу нашего романа ты не верила, на меня сыпались не просто упреки и придирки – я чувствовала себя будто отхлестанной по щекам. Мой избранник недоумевал, почему случайное столкновение с тобой в театре становится поводом чуть ли не для публичного скандала. Логика тут не было, примирение казалось невозможным в принципе. Вдобавок его родители тоже были против – им хотелось в семью только еврейскую девочку.

Я окончательно психанула и, когда ты лежала в больнице – онкологический диагноз, к счастью, оказался ошибочным, но на время ослабил твой контроль, – сбежала от тебя замуж. За другого. Понимаешь, сбежала не к нему, а от тебя – хорошее начало для совместной жизни? Ты была против, но ничего сделать уже не могла. И тогда опять все взяла в свои руки. Подвенечное платье, которое ты сшила, получилось прекрасным – в нем я выглядела хрупкой и элегантной, как фарфоровая статуэтка. Ни одна магазинная фата тебя не устраивала – искусственные цветы для флердоранжа ты делала сама, вооружившись серебристой парчой, крахмалом и железной булькой. Но какая разница – я же знала, что ты на свадьбе все равно красивее меня.

Жизнь шла, я родила сына и поступила в аспирантуру, вила отдельное гнездо, меня уже не доставали так твои упреки – я рассеянно выслушивала их по телефону. Но мне все равно чего-то не хватало.

Тебе, видимо, не хватало тоже. Тогда в паспорте существовала графа «социальное положение», и там, где у бабушки стояло «пенсионерка», а у отца «военнослужащий», у тебя значилось обидное – «иждивенка». Мне это слово казалось возмутительным – какое право они имеют называть так тебя, неустанно пропускающую сквозь руки вещество жизни и преобразующую тусклую материю действительности в яркую и прекрасную. Иждивенцами тогда уж выглядели мы, все бестолковое семейство – для нас из хаоса выстраивался космос, где мы так привычно и неблагодарно существовали. Но когда дети выросли, тебе что-то нужно было менять.

Случись это позже, в девяностые, – ты бы нашла себе дело. Шляпная мастерская или дизайнерская фирма, цветочный магазин или кафе – какая разница, все бы процветало. Кроме дара делать красоту из ничего ты обладала каким-то многоуровневым чутьем и способностью угадывать на несколько шагов вперед – даже странно, что не любила шахмат, ведь у тебя был вполне стратегический ум. Практичность и креативность, расчет и драйв – всего хватало в идеальной пропорции, только возможностей тогда было мало.

Ты отважилась на работу методиста в Литинституте, в учебной части заочного отделения; диплома не было, стажа работы тоже, но проявилась тонкость понимания чужих текстов и судеб – не с бумажками ты общалась, а с молодыми дарованиями. Многие тебя просто обожали – книжки с трогательными надписями до сих пор стоят за стеклом, плакатальной жилеткой ты тоже была для многих и не только вытирала носы провинциальным поэтам, но и выручала из милиции подвыпивших гениев, хотя считала любой алкоголь в принципе отвратительным. О, моя ревность к конвертикам с девичьими письмами в перерывах между сессиями – ведь ты, советчица, отвечала им всем, я же твоих советов не просила никогда – все равно бы не получила.

Ты и скучный холл заочного преобразила, развела там чуть ли не оранжерею, выпросила у завхоза новые шторы, нашла в кладовке куски деревянных резных карнизов, содранных при предыдущем ремонте, вычислила студента, сумевшего их отреставрировать, – и украсила стены.

И сама очень изменилась, стала сильнее, ярче, уверенней – вряд ли кто-нибудь из коллег догадывался, что модные платья-рубашки скопированы со случайных французских журналов и сшиты собственными руками, а эксклюзивная бижутерия не привезена из Польши. Я радовалась, наблюдая, как шляпная резинка и несколько деревянных шариков преобразуются в стильное ожерелье, а бусы из нарезанных треугольниками страниц журнала «Америка» мы скручивали тебе вместе. Ты еще более, чем всегда, была увлечена прояской неявных смыслов, тайных форм – предметы еще раз заявляли о себе, предъявляя всем скрытую красоту.

Еще ты любила грузинское серебро из художественного салона – на черном под горло джемпере оно мерцало благородно – и никогда не носила золота – терпеть его не могла, желтый блеск казался тебе неживым.

Изредка я заглядывала к тебе на службу и всегда видела оживленной, хохочущей в кругу студентов, но одновременно строгой. Преподаватели считали тебя самой элегантной сотрудницей института, а меня хоть и разглядывали доброжелательно, оценивая сходство, но я все равно ежилась, зная, что не умею так же держать спину и красиво отставлять ногу в английской лодочке.

Мне нравилось, что ты становишься еще прекраснее.

И вдруг пришла беда.

16. Дедовы кудри

Я не знаю, можно ли об этом.

Ты прости, но без этого – никак.

Брат Лесик из беленького малыша стал подростком Лешкой. Своевольным и дерзким. Правильными чертами лица он походил на отца, я же унаследовала твою внешность. По части характеров все сложилось совершенно наоборот – в брате кипела другая кровь, твоя и деда. Сходство с дедом усилилось внезапно – ему было четырнадцать, он вышел из ванной, тряхнул мокрой головой, и прямые волосы в один момент превратились в буйную кудрявую копну. Так и остался с тех пор кудрявым.

Учился он плоховато, дерзил учителям и на мои вопросы, в чем, собственно, дело, чеканил: я этой дуре физичке отвечать не желаю. Я его обожала – мы чертили вместе карты придуманных стран, я делала им с Мишкой картонные щиты и разрисовывала геральдическими львами и орлами.

Не знаю, почему ты любила его намного больше меня – не заметить этого было невозможно. Говорят, матери всегда любят мальчиков сильнее, но мне кажется важным еще и другое – любовь к существу твоего витального уровня. Скорее всего, образ буйного запорожца, несмотря на всю его разрушительную для детской жизни роль, подсознательно запечатлелся в тебе как идеал настоящего мужчины, и на этом фоне папины застенчивость и мягкость казались тебе слабостью и недостатком. Возможно, ты чувствовала в сыне достойного соперника – война неминуемо разразилась.

Твое упрямство нашло на подростковую дурь, как коса на камень. Он не желал подчиняться, приходил и уходил, когда хотел, и плевал на все попытки держать его под контролем. Неукротимая энергия искала выхода – частично она нашла его в Геошколе при МГУ, где мэнэ-эсы и аспиранты возились с подростками, устраивали вылазки за камнями то в Хибины, то на Кавказ, то на Волынь. Я лишь слегка заразила его геологией, а потом овладевший им дух вольницы действовал уже вполне автономно. Я иногда тоже ездила с ними – у, как же ты ненавидела захламинившие квартиру брезентовые штормовки, пахнущие дымом рюкзаки и геологические молотки! И если тебя раздражало даже то, что я предпочитала туристские ботинки тифелькам на каблуке, то куда больше бесили авантюрные вылазки брата в места опасные и малодоступные, в особенности в подмосковные Сьяновские пещеры, где вечно клубился хипповатый и не брезгующий наркотиками сброд. Ты боялась дурных компаний, человеческого дна, но я знала, что ездил он туда не водку пить, а, напротив, с искренней и наивной целью навести порядок, то есть служить справедливости и чести, как гласил устав конспиративного «Общества Грина», основанного им вместе с приятелями. Кажется, они даже листовки какие-то распространяли.

Если я походный образ жизни всегда могла оправдать учебной необходимостью, демонстрируя в результате отличную зачетку, то Лешка, запустивший за полгода до аттестата почти все школьные предметы, требовал немедленного обуздания. Обуздание проходило так бурно, что однажды ему пришлось связать тебя шнуром от утюга и запереть в ванной. Папа был в ужасе – его миролюбивая натура не вмещала шекспировских страстей.

С чего началась последняя ссора, я не видела. Я видела только пощечину, которую ты в отчаянии влепила брату, и его окаменевшее лицо с алым пятном на щеке. Это я, папина дочка, умела гнущаяся, как стебель, – подобные вам могут только сломаться.

Он сбежал из дому.

17. Девочка не в счет

Ты держалась стойко, но как-то почернела, отца же просто трясло.

Мне брат оставил записку: «...страна большая, и в ней столько работы, сколько выдержат руки и ноги...»

Был объявлен всесоюзный розыск, но безрезультатно. Полгода никто ничего не знал. Ближайший друг, трусовато и мелко моргавший Сэнди, клялся, что с Лешкой все в порядке,

ну уехал в Сибирь – и что особенного, но подробности прояснить отказался – видимо, связанный взаимным уговором.

После уже выяснилось, что Лешка бродяжил на севере Читинской области, жил в лесной избушке, где его, голодного и полуживого после тяжелой болезни, чудом нашли случайные геологи. Несколько месяцев он болтался с ними, а потом сорвался в Северный Казахстан, где тогда работал мой мрачный и полубезумный однокурсник Акимов, тоже из «гриновцев». Папу вдруг вызвали в КГБ и объявили, что сын задержан с краденой взрывчаткой. Как оказалось, в целях борьбы с вездесущим злом приятели собирались транспортировать ее в Москву, чтобы взорвать ненавистные Сьяновские пещеры. Но отец Акимова, к счастью, тоже оказался сотрудником КГБ, помог замять дело, и неудавшихся диверсантов отпустили домой.

Дома ждала повестка из военкомата.

В армию он уходил веселым, писал оттуда смешные письма, разрисованные десантными парашютами.

Через полгода пришла похоронка.

Я, вся в заботах юного материнства, совершенно растерялась и не знала, как разговаривать с тобой, – на меня как будто дышала стужей громада черного льда. Ты окаменела. Нам обоим было плохо, но плакать обнявшись мы не умели. Я съезживалась, хотя вина перед тобой была невольной – у меня рос сын, а у тебя его не стало.

Но была еще и другая моя вина, за которую ты упорно хваталась. Сначала я не понимала, какие ледяные вихри выкручивали тебя изнутри, что за мрачное пламя стояло в глазах, но однажды ты проговорила: «Все случилось из-за тебя, это ты, ты затащила его в проклятую геологию».

Эта смерть – из-за меня?

Что я могла ответить? Вспомнить, с чего все началось: вашу войну и алое пятно щеки на его щеке? Нет, это был бы запрещенный прием. Я смолчала.

Потом из военкомата пришла еще одна повестка. Ты побежала туда, надеясь неизвестно на что – вдруг остались записки, или вещи, или что-то совсем уж невероятное. Оказался и вовсе бред – обычная путаница с документами. «Ваш сын уклоняется от армии!» – орал тебе эти козлы. Господи, как ты чуть весь этот кретинский военкомат не разнесла!

Вечером вы с отцом сидели сгорбленные и потухшие. Мне очень хотелось согреть и утешить, я обняла вас за плечи. Папа отозвался на прикосновение и всхлипнул:

– У нас больше никого не осталось.

– А я?

– Дочь не в счет! – отрезала ты.

Тут уж обледенела я.

18. Не пишет и не читает

Стихи были наваждением – раньше я посвящала их своему еврейскому мальчику, с замужеством они на время прекратились, а потом хлынули снова. Я честно копировала то Цветаеву, то Ахматову, совершенно не понимая, как можно высказать вскипавшие эмоции собственным голосом.

Литинститут сделался моей тайной мечтой. Ты приносила стопки программ по разным предметам, названия которых притягивали: теория стихосложения, теория прозы, теория драмы. Но все мои идеи о поступлении встречала в штыки – нечего общаться с богемой. Пьянство и разврат – чему там можно еще научиться? Иногда, впрочем, с нежностью говорила о своих подопечных – так я впервые услышала про Колю Рубцова. Не скрою, мне тоже хотелось стоять в толпе окруживших тебя студентов – может быть, тогда ты и взглянула бы на меня по-иному.

Сын пошел в первый класс, и я решилась сдавать на заочный. Когда меня зачислили, твоя реакция была отчаянной – ты бросила работу за полгода до пенсионного возраста, проиграв при этом в деньгах. Существовать со мной в одном пространстве не могла. И все время вспоминала Лешку – а я жалела тебя, надломленную, но ничего не могла поправить, и мы все больше отдалялись друг от друга.

Но, кажется, у твоего увольнения была еще одна причина – какая-то невнятная история с липовыми студенческими, в которой были замешаны лаборантки с заочного, – понятно, что ты при твоей принципиальности вынести этого никак не могла; эти девчонки, глупо заискивающие перед тобой («Ах, ваша дочь пишет как Ахматова!»), решились за твоей спиной на что-то бесчестное, что и на тебя могло бросить тень.

О моих же стихах ты всегда говорила, что они беспомощны и инфантильны, что тебе стыдно за них, зато все время листала Лешкины записные книжки со строчками куда более слабыми, но честными и романтическими. Книжки были помечены – «Общество Грина», а подпись была – Давенант, и на полях розы ветров и ледорубы.

Я снова прорубалась сквозь гранитные пласты. Я не умела ничего, но очень хотела. Я писала ночами и наутро, путаясь в застежках от недосыпа, собирала ребенка в школу.

К концу института мы расстались с мужем. Вслед он кричал – моя новая жена стихов не только не пишет, она их даже не читает!

Со вторым мужем мы познакомились на литинститутском семинаре.

Ты опять была против, но перекрасила мое белое свадебное платье в голубое и приколола на грудь газовый цветок – я опять выглядела как надо.

Дипломы мы получали с годовалым сыном на руках.

Писать я перестала.

19. Крестьянские корни

У вас с отцом появились шесть соток.

Я это одобряла – тебе надо было чем-то занять себя.

Все твои умения вспыхнули с новой силой: ты планировала, проектировала, листала журналы и покупала книги о садовом строительстве. Ты ожила, пространство вокруг тебя закручивалось воронками – хохотала со строителями, шутила с печником, выкладывавшим печку с камином по твоему проекту, папа неумело орудовал молотком и пилой, но сарайчик все-таки сложил. Со стройматериалами было трудно, ранним утром он отмечался в очередях за кирпичом и брусом для маленького домика-шалы – его ты тоже спланировала сама. Я наезжала к вам редко, предпочитая проводить лето с детьми на казенной «известинской» даче, но когда являлась, поражалась тому, как быстро заболоченный клочок земли, полученный во владение вместе с сорока пятью пнями и семейством ондатр, не сразу расставшихся с насиженным местом, превращался в райский уголок.

Тем временем умерла бабушка – ты очень намучилась с ней в последний год. Рак отравил токсинами организм, и если в начале болезни она со счастливой улыбкой говорила – скорее бы домой, домой, к Богу, то ближе к концу не узнавала тебя и со страхом в глазах кричала:

– Уберите от меня эту чужую!

Ты была ей терпеливой сиделкой. Я боялась – умирание словно обволакивало ядовитой паутиной, вытягивая жизнь и из тебя тоже. Потом бабушка совсем впала в детство. Наблюдая с ужасом истончение и уход не столько тела, сколько духа, я вдруг ловила себя на сладкой и жуткой мысли, что когда-нибудь придется сидеть вот так с тобой, умыть по утрам, менять пеленки, держать за холодеющую руку. Да ты и сейчас остывала вместе с нею.

Но когда бабушки не стало, твой пыл вернулся. В парниках зрели невиданные помидоры – чемпион весил почти килограмм, огурчики-перчики перли из земли бурно, как на юге,

тыквы лопались от солнечной спелости. Первые розы ты вырастила из черенков, наградив второй жизнью дареные букеты, потом пошли клематисы, лилии, пионы. Крестьянские корни дали себя знать – земля слушалась и подчинялась, ты брала энергию от нее, она от тебя. Рухнула какая-то плотина, от пышных соцветий прямо током било – будто прорвались подземные фонтаны. Соседки захаживали в гости обменяться растениями и просто полюбоваться, интересуясь, чем ты подкармливаешь и удобряешь, чтобы добиться такой красоты. Да тем же, что и все, просто буйная твоя сущность излучала такие импульсы, что все живое пускалось жить еще сильнее, еще красивее. Ты получила наконец свое маленькое королевство, где не столько царил идеальный порядок, сколько действовали магические силы. Ты умела с ними ладить – мы с папой были только на подхвате, как верные, но далеко не волшебные помощники.

Королевская статья, королевская спесь, королевская вспыльчивость.

Тебе хотелось, чтобы мы все ходили по струнке. Тебе нравилось контролировать – мы особо и не сопротивлялись, на трудовом фронте честно уступая лидеру. Но у меня была своя жизнь, свой дом, свои беды и заботы. Ваша взаимная антипатия с моим мужем мучила меня, но мне хотелось быть с ним, а не с тобой. Тебе не нравилось все: как я воспитываю детей, как они одеты, куда едем в отпуск. Я снова не могла вырваться из невидимых сетей и рыдала у телефона. Папа говорил: терпи и прощай ей все, у нее нервы, ведь она потеряла сына. Муж говорил: при чем тут нервы, это злая воля.

Нет, это было что-то совсем другое.

Как-то раз мы с мужем собрались в Турцию – я так давно предвкушала романтическое путешествие. Сначала ты бурно протестовала, считая, что деньгам и свободному времени можно найти лучшее применение, потом сдалась, но все же попросила об одной услуге. Тебе срочно понадобился махровый халат, а ходить по московским магазинам было уже не под силу, поэтому я получила точные инструкции относительно стиля, цвета и длины – непонятно, почему ты решила, что в Турции все есть, но еще более непонятно, почему я обещала.

Неделя превратилась в дурной сон – такого халата не нашлось ни в одной лавочке Мармариса, но ты бы все равно мне не поверила. Эта мысль отравляла все: и вечерние прогулки под олеандрами, и синие эгейские воды, и форель в горном ресторанчике под соснами. Я все же нашла его на последней экскурсии, когда нас завезли на склад трикотажной фабрики, – за отпущенные двадцать минут, ведомая какой-то отчаянной интуицией, выловила искомую тряпку в огромном ангаре меж нескончаемых рядов текстильной продукции. Но чувство исполненного долга уже не радовало – собираясь домой и утрамбовывая чемоданы, куда проклятый халат никак не хотел вмещаться, в закиданном вещами гостиничном номере я поймала взгляд мужа, презрительный и сожалеющий, и услышала приговор: «До чего же ты на нее похожа!» Увы, мой корабль получил пробоину – капитан оказался только щенком, не разглядев проклятые рифы.

И ведь не сказать, что ты очень сильно обрадовалась подарку.

Знала ли ты, что делаешь? Знала, конечно. Только моя простодушная любовь к вам обоим не позволяла мне понять, что не в тряпке было дело, – видимо, давно уже разыгрывалась какая-то невидимая война, в которой проигравшей оказалась только я.

Пробоину все же надо было как-то заделывать. Бросившись к подруге-психологу, я заставила ее выслушать бессвязный бред про энергетических вампиров, переключение потоков и искажение силовых полей. Посмотрев на меня как на идиотку, она резюмировала:

– А что ты хочешь? Два тигра на одного кролика!

Но для меня это было слишком простым разъяснением. Я-то видела, что сквозь тебя просвечивает архаическая бездна, куда муж боялся смотреть, чувствуя враждебность и отвращение. Я же боялась только одного – потерять обоих.

А жизнь продолжалась – с виду по-прежнему, но как-то все больше раскаляясь изнутри.

Наверное, ты старела и сдавала, хотя я этого не замечала, но ты-то не могла не чувствовать, и наперекор всему в тебе росла ярость и сила. Ты продолжала творить красоту – в свои семьдесят восемь клеила обои и копала ямы для новых роз. Дачники, снявшие соседний домик, установили в саду телескоп, и ты вместе с ними восторгалась спутниками Юпитера.

Мы почти научились с тобой разговаривать – но всегда только о вещах отвлеченных, никогда о своем тайном, и не всегда мирно, а со взрывами и выхлопами. Мне хотелось поговорить о нас, об отношениях, которые всегда тяготили меня, но ты снова вспыхивала – какое я имею право рассуждать о тебе? Ты хранила себя, как тайну. Но мне уже было разрешено курить с тобой на крылечке. Обнять, поцеловать – нет, не получалось. Иногда ты просила обновить стрижку – наконец-то позволила себя расчесывать. Ножницы щелкали, полуседые пряди падали на доски веранды, я касалась пальцем твоей шеи и думала: почему этого нельзя было в детстве?

Иногда ты вспоминала что-то из своего прошлого, но так неохотно, так отрывочно, что ни одну историю я так и не услышала до конца, лишь фрагменты остались в моей голове, непонятные, как кусочки пазла. На одном две сестры прятались от бомбежки под брюхом паровоза и сполохи пожара играли на мазутных потеках, на другой старшая, сбежавшая из гестапо, брела по снежной целине в одних носках, уже не надеясь дойти до ближайшей деревни и оставляя на сверкающем мартовском насте капли крови.

И везде – грань жизни и смерти, дыхание небытия, которому надо было сопротивляться изо всех сил.

Ничего легкого, ничего теплого.

Однажды ты попросила прочесть что-нибудь из новых стихов и с особенно иронической усмешкой выслушала один, о смерти – шарящей в пещере драконьей лапе.

– Ага, ты тоже ее боишься? – и засмеялась хрипло и неприятно.

Ушла ты внезапно. Тусклым февральским вечером мы обсудили по телефону планы будущих цветочных приобретений, а ночью позвонил папа и сдавленно просипел: мама умерла. Даже тут тебе удалось избежать моих прикосновений – я не была с тобой, не держала за холодящую руку, зато так и не увидела тебя слабой.

Под твоим матрасом я нашла пожелтевшие машинописные листочки – мои литинститутские стихи. Как они там оказались, ума не приложу – никогда их тебе не давала. Или ты реквизировала их на кафедре творчества?

Я не то чтобы переживала, это совсем другое. Целый год было чувство, что меня выключили из розетки. Обесточили.

20. Хозяйка сада

Жизнь рассыпалась сразу.

Младший сын бросил институт, муж сделался совсем чужим. Отец сдавал на глазах, я подселила к нему в помощь своего старшего с семьей – идеальная твоя квартира превратилась в пыльное вместилище всяческого барахла, отодранные кошкой обои свисали лохмотьями, в прихожей валялись запчасти от велосипедов, окна стали мутными. Папа попросил вымыть их к Пасхе, я один раз это сделала, но потом поняла, что и свои-то не успеваю. Красота уходила, растворялась, все расплзалось на куски, будто утрачен был каркас. Сын выносил на помойку старые вещи, я неизвестно зачем выхватила несколько блузок, так они до сих пор бессмысленно и висят в шкафу, давно утратив запах твоих духов и твоего тела.

К тому же я оказалась хозяйкой дачи.

Вкалывать я умела, но у меня не было твоего волшебства – ты так и не передала мне своих секретов. То есть формально передавала в последние годы, показывая и рассказывая, да еще

оставив кучу тетрадок с полезными выписками. Я знала, как удобрять розы и обрезать кусты, но это была чистая технология, прабабкина магия ко мне не перешла, и крестик серебряный с бирюзовой эмалью не помогал. Надо было искать что-то самостоятельно.

Сорняки душили все, розы болели, овощные грядки опустели. Парники я разобрала, теперь фанатично держалась только за цветы. Приникала к земле, ложилась на нее грудью, перетирала в пальцах пыль и хрусткие стебли, ожидая ответного импульса, подземного отклика. И дождалась – сначала слабого, потом все сильнее. Я поняла, что здесь можно отдышаться от ерунды, что сад обманывает линейное время, меняя его на круговое, что здесь не бывает возраста, а пространство имеет дополнительные измерения.

Но все ветшало – ослепший отец не мог уже прибавать, чинить, латать, и его беспомощность обрекала наши эфемерные постройки на разрушение временем, муж и дети вообще предпочитали роль залетных гостей. Перекосилось крыльцо, зарос мусором верстак, инструменты тупились, дверь слетала с петель, краска шелушилась и отставала чешуйками.

И только розы твои цветут – я укрываю их каждый ноябрь, чтобы открыть в апреле.

– Продадим дачу? – спрашивает отец. – Ты одна не справляешься.

– Ни за что! – мотаю я головой. – Она меня держит.

Да, держит – в том смысле, что только здесь чувствуется глубинный ток жизни, давно потерянный нами в городском своевольном сегодня. Меня никто уже не заставляет поливать помидоры, но я знаю, что все мои действия, все мои поступки, помогающие умножать красоту этого мира, вписаны в матрицу природных ритмов, мировых гармоний, не зависящих от меня совершенно. В эту погоду надо косить газон, а в ту – срезать цветы, в июне выкапывать луковички тюльпанов, а в августе ждать яблочного Спаса.

Но у меня здесь существует своя свобода – я привезла компьютер, и у окна, из которого видны алая роза флорибунда и пышный куст белой гортензии, набираю текст о тебе.

Раньше мне почему-то здесь никогда не писалось.

* * *

Она пересаживает куст клематиса. Движения точны, красивы, в них чувствуется воля к победе, как у спортсмена, идущего на мировой рекорд. Заглубившие руки в земле, но рубашка, как всегда, белоснежна.

Приехавшая в гости подруга Анна смотрит и восхищается.

– Силища! – говорит она. – Воин духа!

Матери Анны тоже семьдесят пять, я недавно видела ее в кресле-качалке – такой тихий божий одуванчик с подсиненными кудрями и любовным романом в руке.

– Буря! Тайфун! – повторяет Анна. – М-да, ты явно не в нее.

Отцовская дочка, кто бы спорил.

Может, наша с ней война и была из-за отца?

Теперь мы с ним вдвоем – без мамы он резко одряхлел и ослаб. Я усаживаю его на солнышко – старик всегда мерзнет. Стригу ногти, поражаясь, что пальцы до сих пор тонкие и красивые, подравниваю серебряную бороду, целую в лоб.

Мысли мои крутятся вокруг точки-аттрактора, описывая ближние и дальние траектории, круги и эллипсы, но упрямо возвращаются обратно. Я думаю о странном характере, явившем всю яростную глубинную силу женского естества, которое видится мне чем-то вроде тяжелого подземного океана, нефтяной черноты, где на поверхности вскипают и опадают отдельные волны – то совсем маленькие, то громадные штормовые. Это мы, вечные и бесконечные сестры, одна за другой поднимаемся ввысь – то плавными выпуклостями, то мощными протуберанцами, неминуемо опадая вниз и снова сливаясь с непрозрачной толщей, из которой вырастают следующие. И все равно мы – одно.

Мне кажется, что она, волна высокая и неистовая, не столько понимала, сколько чувствовала свое назначение – проявить то прекрасное, что расплыено и скрыто от нас, высмотреть и оформить красоту Божьего замысла хотя бы на вверенной территории. Покуривая сигарету на веранде, окидывая взглядом цветник и отводя волосы со лба совершенно ее жестом, я люблюсь, как формы и краски ее сада окликают друг друга, перетекают, рифмуются; кто-то сказал, что Бог любит совершенные тексты. Мне кажется, она ваяла мир, как скульптор, – чувствуя материал и отсекая лишнее.

Теперь, когда у меня что-то получается удачно, я верю, что сделала все это сама – книгу, цветник или пирог; она ведь ничего не захотела передать мне. А может, все-таки передала, но не прямо, а косвенно, на том языке, который я смогла бы усвоить?

Больше всего я жалею, что у меня нет дочери. Я знала бы, чем с ней поделиться. Ведь теперь даже прабабкин крестик некому оставить. А может, жизнь еще подарит мне не кровную, а приемную, названую?

У меня в семье одни мужчины, они будто не замечают моего существования. Замороженная обидами, иду сдаваться психотерапевту. Тот внимательно фильтрует запутанный монолог и говорит:

– Расскажите мне о матери.

Рассказываю.

– Бедняга! – сочувствует он. – Вы понимаете, что мать с вами сделала? Какую роль навязала на всю жизнь? Нелюбимого ребенка! Вы не выпутаетесь из проблем, пока с ней не разберетесь. Знаете что? Пишите ей письма и в каждом прощайте ее. Вспомните всю боль, все обиды – то, что вы прячете от себя в уголках памяти, все, что не решается произнести. Пишите, пока поток сам не иссякнет. А потом можете сделать с письмами что угодно – порвать, на свечке сжечь, в книге напечатать. Но в каждом – прощайте, прощайте ее, только честно.

Ну вот, мама, я и написала.

Простишь ли ты меня?

Ниночка

Она сидит на веранде ко мне спиной, пуская мыльные пузыри. Радужные сферы, медленно отрываясь от соломинки, плывут в теплом воздухе, делая его объемным, фиксируя невидимые воздушные потоки – разводят сверкающую иллюзию в разные стороны, а потом снова сливаются в одну струю. Вот два пузыря столкнулись и приклеились друг к другу – получилась двухэтажная фигурка вроде снежной бабы, чудом не лопнула, к ней притягивается третий пузырь – так и плывут уродцем среди стаи абсолютно идеальных форм.

Идеальных – так же идеальна ее спина под обтягивающей черной футболкой с глубоким вырезом, чудный изгиб шеи, пучок гладко причесанных темных волос.

Я что же – люблюсь?

Дивный цветок в моем саду? Чудовищный коллаж – интересно, чьи равнодушные ножницы вырезали из черной бумаги прекрасный силуэт и клеили его в самую середину неухоженного газона, заросшего одуванчиками? Одуванчики теплые, растрепанные, презирающие чистоту линий и радующие глаз только цветом, а в середине пылкого зелено-золотого – капля черно-идеального; господи, почему же я так падка на форму? Я не могу отвести от нее глаз, я буравлю ее своим взглядом, неужели она не чувствует совсем ничего?

Спина так же безмятежна, хрупкие лопатки невинны, как ангельские крылья – *господи-чтожетыделаешьсомной*, – я прохожу мимо, искоса взглядываясь в лицо – наяда? дриада? черный ангел? Явно не от мира сего. И это надмирное совершенство делает мою печаль вполне переносимой, она становится *печалью света*, и я никому этого не расскажу, потому что сумасшедшей меня тогда сочтут даже самые понимающие подруги.

Мыльные пузыри наполняют сад, льнут к яблоневым веткам фантастическими плодами, текут в просветы между вишнями, отсвечивают вечерними облаками. Тяжелый, тяжелый цвет, закатно-алый, прекрасный – *господискорейбы стемнело!*

Как началось?

Зову мужа на дачу – привычно знаю, что не согласится. А он вдруг как-то очень быстро соглашается.

– Знаешь, – добавляет смущенно, – я тут в Интернете с девушкой познакомился, ей очень за город хочется – ты не будешь против?

– Неее-е-т! – я энергично трясую головой и перекусываю нитку, которой только что пришила пуговицу к его-моей любимой рубашке.

– Вообще, ты знаешь... я хочу, чтобы ты поняла... я к ней как к дочке отношусь... – голос его явно теплеет. – У нее с родителями проблемы... – он замолкает.

А я-то что? Преданная и чуткая жена должна все понимать. Как-то давно, в пору влюбленности, мы сидели на скамейке в сквере и смотрели, как по дорожке носится очаровательное чумазое чудо – льняные волосы, перепачканные голубенькие джинсы. Румянец жизни на милой мордашке, волосы разлетаются. Испарина над вздернутой верхней губой – радость безоглядная и старательная одновременно.

– Хочу такую дочку – говоришь ты, и я с идиотской улыбкой счастливо утыкаюсь тебе в плечо.

Через год родился сын (у поэтов почему-то всегда мальчики), мы возились с ним радостно, и ты любил его, но как-то раз у тебя сорвалось: «Жаль, что не дочка». А что материнская обида всколыхнулась во мне и угасла – об этом я ничего не сказала, да и незачем говорить.

Но замкнутость и отчужденность сына, такая заметная уже в младенчестве, переросла в холодное подростковое непонимание и раздражительность, так что и я порой подумывала

о дочке, играла в «если бы, прикидывая, насколько семья могла бы быть теплой, но старалась на этой мысли все-таки долго не задерживаться.

Да, тебе тоже хочется тепла, думаю я, однако что-то меня колет, эдакое пронзительное предчувствие любящей женщины, и я нарочито небрежно спрашиваю: «У вас роман, да?» Ты обижаешься, оправдываешься: нет, ничего, мы только иногда за руку... но это не я... это она... понимаешь, она так устроена... ей нужен тактильный контакт... а я – ну как отец...

Тебе всегда хотелось быть отцом дочери...

Дитя ждет в метро на лавочке и вскакивает при нашем появлении.

– Ох, Еленаиванна, я о вас столько слышала, и я вас уже так люблю! – выпаливает она совершенно естественно, и напряжение меня отпускает. Высокая – выше меня, черноглазая, черноволосая, совсем не хрупкая, гладкая прическа, черная майка и камуфляжные штаны – никаких украшений, на которые так падки школьницы. Милая, очень милая.

Ниночка.

Мы долго едем, пересаживаясь с автобуса на автобус, покупаем какую-то снедь, ты одинаково вежлив с нами, но я все время чувствую неловкость, и мне интересно – а она? Видимо, нет.

Ищу подвоха – его тоже нет. На даче она сразу включается в хлопоты, мелко и аккуратно режет салат, моет посуду, и я на какой-то момент чувствую странное умиротворение, думая о дочке.

– Удочерим ее, а? – пытаюсь пошутить, пока она не слышит, но твой взгляд тяжел и губы презрительно кривятся – шутка явно не принята. Мне становится стыдно, хотя настороженность не пропадает.

Пока я воображаю себя в счастливой семье и мурлычу что-то под нос, колдуя над сковородкой с шипящим маслом, а дитя читает Цветаеву на веранде, муж упивается новым хобби.

Покупка цифрового фотоаппарата изменила его до неузнаваемости – он теперь охотник. Его освоение мира похоже на мое смакование деталей, но по-другому. Хищный взгляд видоискателя просеивает действительность, отмечая обычное и выхватывая совершенное. Я рада его прикосновению к моим радостям, и хотя любимые предметы выходят порой пугающими и странными – лимон обзаводится хищной мордой, а нагота луковой плоти сквозь шелуху проступает так болезненно-беспомощно, – все это кажется мне началом нового сближения. Он видит важные детали моего мира – пусть и не моими глазами.

Момент просмотра отснятых кадров на мониторе я всегда встречаю с внутренним трепетом, стараясь хоть через торжествующую визуальность постичь закрытую глухими створками чужую душу. Мы сидим втроем на продавленном диванчике, ноутбук перед нами на табуретке, и экзотические голландские тюльпаны сияют немного холодным, электронным светом. Мне хорошо. И вдруг сердце ухает, обрывается и под наэлектризованной кожей волной прокатываются мурашки. Следующее фото снято из окна мансарды – кренящийся ракурс, рамкой стволы в наклон, а посередине на ровной траве газона лежит – летит? – девочка с книгой.

Ненадоненадо, неговоримненишего, я все уже поняла.

Что меня поражает в ней – это совершенная невозмутимость.

Не может ведь не чувствовать, что я все время смотрю на нее то сквозь кусты, то из-за угла дома. Вся очерчена линиями, точными и совершенными. Перо и тушь, восхитительный лаконизм. Черное – а все остальные цвета не имеют значения, она кажется монохромной. Линия важнее. Я слежу глазами за спускающимся на шею завитком. Какая выразительная графичность! Нежная косточка на хрупком запястье, и браслет звенит. Вижу ее сзади, в полупрофиль. *«Каждая черта ее была легка и чиста, как полет ласточки»* – сентиментальная формула девичьей красоты.

Нет, здесь другая эстетика, жесткая. Кажется, будто ее нарисовал Обри Бердслей – чистота, слитая с порочностью. Трудно понять, как простая линия может быть столь чувственной. Она – носитель – уж точно этого в себе не понимает. Я восхищаюсь ею, как графикой Бердслея, но темное подсознание делает мое любование слегка отравленным.

Еще она похожа на ландыш (тоже, кстати, ядовитый) – их много у меня в тенистом углу сада, низкорослые диковатые дебри с каплями-колокольчиками сияющего света. Так гармонично все устроено, так сочетаются жесткая плоть и строгая форма листа с жемчужной хрупкостью. А представьте себе такой цветок на фоне, скажем, листвы дельфиниума, резной, светлой, нервной – нет, не то, бидермайер какой-то... Здесь же – плотный лак темно-зеленых ланцетовидных листьев, непоколебимая уверенность, непрошибаемая стойкость. Лучший фон для светящихся серебристых капель. И не заподозришь тайной агрессии – подземные стебли свирепо буравят почву, ландышевая поросль разрастается с каждым годом, вытесняя прочую флору.

Полночи мы смотрим Кустурицу, «Аризонскую мечту».

Каждый видит свое. Я – сумасшедшую бабу, мечтающую летать, жуткий трагикомический персонаж, inferнальную распадающуюся реальность и свое в ней отражение. Музыка Горана Бреговича выворачивает наизнанку, до спазмов в животе. Я сижу между вами, слева Ниночка прильнула ко мне, как зверек, ее голова доверчиво лежит на моем плече, правым плечом я чувствую тебя, а мое тело прошибают разряды. Между вами – электричество, а я – плохой изолятор. Пахнет паленым. Только не показывать виду!

В четыре часа уже начинает светать.

Ниночке скучно на шести сотках, она тащит нас гулять по окрестностям. Это мне нравится, мы ведь с тобой никогда не гуляем – я вожусь с растениями, ты читаешь в кресле. Оказывается, у нас чудные окрестности – крутые речные берега, луга, березовые перелески. Мне хочется многое объяснить ей, но я не знаю как, поэтому невнятно толкую про знаки, которыми говорит с нами мироздание, о его стрелочках и подсказках, об умении их видеть и не бояться. Мы уходим далеко и попадаем на территорию заброшенного пионерлагеря. Высокой травой заросли площадки, порушенные беседки. Поэтика умирания. Ржавый шпиль флагштока давно забыл, какое знамя трепал на нем ветер. Жизнь отхлынула в другие места. Мне становится жаль детства, холодной росы по утрам, армейской картофелечистки на лагерной кухне и добавки компота за очередной стишок в стенгазете «Зоркий глаз».

Зачем-то мне сегодня надо было оказаться именно в этом нереальном месте, увидеть торжество энтропии, одичание-ржавение-гниение, а поверх распада – утешительные волны трав и листьев. Забираемся в какие-то совсем уже дебри. Темно-кирпичные хозяйственные постройки заросли мхом, в них заколоченные окна и глухие железные двери. Ненадежная пожарная лестница ведет на крышу. Мы с ней лезем наверх, ты остаешься внизу фотографировать. Крыша залита асфальтом, он потрескался, и в трещины лезет жесткая трава. Растительный мусор – шишки, листочки, два изъеденных коррозией прожектора без стекол. «Сталкер» Тарковского, ужас необъяснимого, странное обаяние смерти. Мне уже нехорошо – именно сейчас я читаю все адресованные мне знаки. Это моя жизнь распадается и сыплется трухой, это ее покрывает свежая и жестокая зелень.

Почему она так странно смотрит?

На обратном пути плотина – шумит водослив, огромные крепежные винты уродливы, мертвы, на них чернота и ржавчина. Мы подлезаем под мост, Ниночка стоит в профиль на фоне стеклянно падающей воды, держась рукой за бетонную в пятнах плесени стену, и вода под мостом кажется липкой и черной, как нефть. Твой фотоаппарат работает без устали, строчит пулеметом – тра-та-та-та...

Я уже вся в дырах, как простреленная мишень.

Идем дальше – до чего милая болтовня, почти семейная прогулка. Но иногда в пространстве между вами возникают такие напряжения и сгущения, что меня выталкивает прочь. А если отстать, спрятаться за толстый березовый ствол? Интересно, ты заметишь, что меня нет? Нет, не замечаешь, вы уже далеко. Догоняю – что еще остается?

Реальность бывает видимой и невидимой. Видимая – проста и уютна. Тарелки, ложки, нарезанный хлеб. Я старательно цепляюсь за мелочи быта, как за перила, когда стоишь на смотровой площадке: вдали простор, голубые горные цепи, а внизу – обрыв и ржавые обломки рухнувшей когда-то в пропасть машины. Не смотреть вниз – только вдаль и только держась за ограждение.

Давно не видела тебя таким оживленным. Удивительно, как лицо меняется от настроения – глаза кажутся больше и загадочней, ты отбрасываешь поседевшую челку со лба упрямым юношеским движением. То и дело всплывает то один, то другой забытый жест, возвращая меня в наше прошлое. Со страхом и восхищением вижу, как ты выпал из возраста, весь – легкость и порыв, парусник при попутном ветре. Жизнь как чудо. Честное слово, я рада за тебя.

Держусь за ограждение.

Ничего страшного – воскресный обед.

После мирной трапезы дитя хочет мыть посуду – разве я против? Тащим тарелки и кастрюли на улицу, к ржавому крану.

– Как я вас обоих люблю, – говорит она мне шепотом, – ну просто очень-очень! – и смотрит ясными глазами. Я не знаю, что ответить. Меня трясет, но я улыбаюсь.

– Еленаиванна, ну почему у вас улыбка неискренняя?

Смотрим свеженькие фотографии. Пронизанные майским светом перелески, рябые березовые стволы, атласная гнедая лошадь под нежной кроной корявого дуба, обрывистые речные берега.

Она, везде она. Стоя, сидя – то спина, то профиль, то просто черный силуэт. На фоне зелени – чудо как хороша, на фоне мертвых железных конструкций и бетонных стен – еще лучше. Сейчас отпустит перила и полетит. Девочка-птица, девочка-жизнь.

Вот здесь у нее врубелевский поворот – Царевна-лебедь, совсем нездешняя, глаза огромные. А следом – черно-белый кадр, сухое взрослое лицо, запавшие щеки – или тень так легла. Мавка.

Мне уже даже не страшно.

Она сидит на траве, обхватив колени руками, смотрит на меня искоса. Твердая круглая бровь делает глаз совсем круглым. Нахорленные плечи под черной майкой похожи на крылья. Маленькая хищная птица – соколенок? Странное слияние детского, беззащитного – и внимательного, жестокого. Жалость и страх, жалость и страх.

Музыка. Горан Брегович.

Не видят меня. Стоят, держась за руки.

Ярость захлестывает меня с головой – но это ничего, я умею держать лицо, я улыбаюсь почти искренне, вытираю посуду и рассовываю по местам, еще раз смахиваю невидимые крошки с уже чистого стола, а потом уйду в дальний угол сада и, упав коленями в тощую землю, начинаю руками драть сорную траву – сначала медленно, почти через силу, потом постепенно ловлю ритм и уже с остервенением. Жирный запах сныти, тягучий – крапивы, зеленая кровь, стекающая по рукам, хруст рвущихся стеблей – куча зловредной травы растет и закрывает небо. Ну не небо, но обзор – точно. А я и не хочу видеть этот белый свет,

я ползаю на коленях носом к земле, дергаю, дергаю... Что-то поддается легко, как осот, что-то упирается – конский щавель, резиновые перчатки разлезлись на клочья, жгучий сок брызжет из раненых стеблей – быстрее, быстрее, яростней, отвожу волосы с мокрого лба, оставляя грязные полосы, зачем-то провожу перчаткой по лицу и как в зеркале ощущаю свою чумазость – Золушка, которой давно пора стать феей-крестной, и рву, рву, рву – *господиотпуститеменя-наволювпампасы, я и там не оставляю ни одной травинки*. На запах вспотевшего тела летят комары, садятся на руки, я размазываю надутые моей кровью тельца по грязной коже. Красное, зеленое, черное, быстрее, яростней, крепче...

– Еленаиванна, а что вы больше любите у Бродского? – неслышно выныривает она из-за жасминного куста. Я улыбаюсь почти настоящей улыбкой и сообщаю совершенно искренне и потому ничуть не задумываясь:

– «Осенний крик ястреба»...

– А-а-а... – медленно тянет она и, грациозно крутанувшись на пятке, исчезает так же бесшумно, как и пришла, даже ветки смыкаются совершенно без звука.

Меня будто окатили холодной водой. Успокоилась.

Сажу на куче травы и думаю.

Объявить невидимую ревнивую войну – кому? Семнадцатилетнему ребенку? Но это мне она ребенок, а тебе?

Пытаюсь смотреть на нее твоими глазами – глазами пятидесятилетнего мужчины, да еще с фотоаппаратом в руках. Обезоруживающая красота. Совершенство линий поразительное. Лучший ракурс – сбоку и немного сзади. Гладко причесанная черная головка, чистая плавная линия щеки с тенью от ресниц, розовое ухо, мраморная шея. Все это меня невыносимо томит и мучает – видимо, улавливаю твои ощущения. Долгие годы супружества не проходят бесследно, мы срослись корнями, как два растения разных видов, и как-то даже тесним друг друга, но попробуй рассадить, разорвать связку корней – вероятность того, что погибнут оба куста, очень велика. Мой сад учит меня многому – невозможности разрыва, но и возможности обновления.

Я замираю от восхищения – люблю ее твоей любовью. Но не только, ведь что касается тайных знаков – и здесь все сошлось. В ее возрасте на полях тетрадей я в задумчивости рисовала именно этот образ, именно этот ракурс.

Неизменно, многократно, бессмысленно.

И с томительным обожанием.

Она – девочка с моих картинок.

Сажу и обдумываю предъявленные мне сегодня знаки.

Жесткий взгляд фотографа не оставляет мне никаких шансов. Он видит во мне то, что видит – отяжелевшие щиколотки, мимические морщины от носа к углам губ, руки с выпуклыми венами, обмякшие плечи. Возможно, и красива по-своему, но это красота увядания, ухода, тлена. Разве ЭТО – достойно любви? Когда-то я прочитала у Анатолия Кима дикую фразу о том, что женская плоть, похожая на лепесток розы, слишком скоро начинает напоминать старый чулок.

Мне будто показали зеркало – интересно, как я не видела его раньше? Я всегда чувствовала свое тело таким, каким оно было много лет назад, – и думала, ничего не изменилось, мне повезло, болезни не тронули меня, даже пошлого целлюлита у меня нет, и походка пружинистая, и фигура молодежавая. Но нет, это был обман – твои фотографии говорят чистую правду. Фотограф может играть со светом, выбрать удачный ракурс – но это ухищрения, а ты же предпочел чистую правду. И с этих пор я ненавижу себя, я ненавижу свое тело, мне кажется, что это морщинистая старая липа рядом с фарфоровым, нежным на просвет колокольчиком ландыша.

Но разве я – это только тело, только старый чулок? А душа, всю жизнь поднимавшаяся по ступеням, а глубина, которая открывается не сразу?

Господи, какие глупости!

Старый чулок – это я. Заброшенный пионерлагерь – это я. Пышные травы подобны зеленым сугробам – заливают луг, заматают неровности, скрывают трещины мироздания. Трухлявая скамья, завалившаяся беседка, ржавый флашток – это все я. Все, что от меня осталось в водовороте кипящей листвы.

Но ведь она – это тоже я.

У женщины нет возраста – вернее, все ее возрасты в ней одновременны. Я знаю, что я часть черного подземного океана, тускло блестящего маслянистой нефтяной густотой, субстанции необъяснимой и мощной, невидимой, но определяющей все. И я, и она – его брызги, слетевшие с гребня волны, обретшие свободу на краткий миг, перед тем как возвратиться в черное горячее лоно. А если так – зачем моя боль, зачем страх исчезновения, зачем никчемная ярость... Они бессмысленны.

Мне снится сон. Я иду по канату, натянутому меж двух горных склонов, подо мной пропасть, а там, на дне, ржавые останки автомобилей. Не смотреть вниз, мне надо дойти – никаких перил. И когда противоположный склон уже близок, на меня пикирует сверху черная птица, ее крыло подрезает остаток моего времени, хищный круглый глаз впивается в мой незащищенный зрачок, я отмахиваюсь, теряю равновесие и падаю – медленно, медленно, но пути назад уже нет, теперь только туда, где ждет меня на дне расщелины искореженный мертвый металл, а вцепившиеся в склон пыльно-зеленые кусты проплывают мимо меня вверх с равнодушным спокойствием. Но перед тем как падение завершится неизбежным концом, что-то меняется в мире, и я не разбиваюсь об острые ребра камней, а ныряю в черную непрозрачную воду, и покой охватывает меня уже навсегда. Я вернулась.

Утром я заглядываю в ее комнату – разбудить. Она спит так трогательно-беззащитно, подложив тонкую руку под щеку. Нежный румянец освещает лицо, синеватые тени под глазами подчеркивают густоту ресниц, скомканная простыня обнажает тонкую боттичеллиевскую лодыжку и нежную узкую ступню. Я, наверное, рехнулась окончательно – я люблю ее. Я люблю любовь, эту милую девочку. Девочка сама не знает, что она такое. Судьба? Жизнь? Сейчас проснется и защебечет счастливо. Нина, Ниночка...

Она сидит на веранде ко мне спиной, пуская мыльные пузыри. Невесомые шары, тихо отклеившись от соломинки, виснут в утреннем воздухе, придавая ему объем, обозначая воздушные русла – разделяют двоих, отправляют их в разные стороны и не хотят сливаться. Два пузыря нехотя приклеились друг к другу – уродливая фигурка чудом не лопнула, к ней притягивается третья сфера – так и плывут странным сращением среди облака геометрически безупречных форм.

– А вы любите Рембо? – спрашивает она.

Караимское кладбище

В Крыму запах всегда необыкновенный. Особенно в горном – ни с чем не спутаешь. А тут еще поля вокруг шалфейные и воздух теплый, с аптечным привкусом. Уже почти темнело, когда они, взявшись за руки, вышли за ворота на дорогу. Сзади затихал беззаботный гвалт сокурсников, хриплые звуки шлагера из динамиков доносились все смутнее. Дорога вела в гору меж двух известняковых подпорных стенок, сверху свисали колючие кусты, и если бы не луна, было бы совсем темно, но и так путь уходил будто в устье черного тоннеля.

Мальчик был совсем невысок, самый малорослый на курсе, но ее это нисколько не волновало. Уже полгода они приглядывались друг к другу, с тех пор как компания первокурсников решила отметить Новый год в лесу – зачем-то для этого пришлось тащиться под Воскресенск, хотя ритуал можно было бы исполнить гораздо ближе, хоть в Сокольниках. Но преодоление трудностей – тоже часть игры. Загружаться в промерзшую электричку с кучей барахла, гнуса-вить сомнительные песни под расстроенную гитару (единственному гитаристу в группе медведь на ухо наступил), долго торить сугробы и выйти на заветную поляну, где можно наконец разжечь костер и нарядить кривобокую отдельно стоящую елочку не только парой шариков, но и наивным украшением из чайной фольги с нарисованным ручкой инь-ян. Но девочке было хорошо, потому что как раз напротив нее – через костер – сидел мальчик с упрямым лбом, прямой челкой до бровей и гордым орлиным еврейским шнобелем. Разделявшие их языки огня ржаво и трепетно освещали его лицо, ни одна черта не хотела отлиться во что-то завершенное, он напоминал индейца своей невозмутимостью, а внешние уголки глаз, немного опущенные, будто обещали что-то. Наверное, она слишком распахнуто смотрела, так простодушно ела его глазами, что он рассмеялся и заговорил.

Обратный путь и последующие полгода слились в один комок, менялись бесконечные трамвайные маршруты, провода до подъезда, беспредметно-психологические разговоры, чтение Бредбери и Саймака, билеты на Таганку и даже какие-то запрещенные книги. Отец его был доктором философии, девочка уже слышала о нем от своей подруги – в том вузе он слыл любимцем студентов. Тень славы, видимо, падала и на сына, но сколько Ритка ни бубнила: «Познакомь! Познакомь!» – девочка отказывалась, сама не зная почему. Папа, впрочем, был молодцом, давал сыну карманные деньги «на девушку» – тогда мальчик водил ее на Новый Арбат и угощал пирожными, но чаще перед лекцией открывал выдавший виды рыжий портфель и доставал розу! Зимой! Весь курс, конечно, ахал, но повторить не решался никто. Перед экзаменом по диамату она хлюпала носом в читалке, что ничего не понимает, тогда он сел рядом и за пять часов разложил в ее голове все по полочкам. Получив «отлично», она искренне прониклась любовью к предмету, а мальчик еще долго пересказывал ей папины любимые статьи о черных дырах во Вселенной и геометродинамике Уилера.

Учебный год был заполнен, казалось бы, житейскими мелочами, и все же происходило что-то замечательное. Они не просто привыкали – они впечатывались друг в друга, даже становились чем-то похожи. Ей нравилось нежное шефство – он гораздо больше читал и в политике разбирался и все это преподносил ей как старший брат, радуясь ее радости. Оказался заядлым театралом – знакомый с несколькими тетками из театральных касс (непонятно, чем он их так подкупил), всегда имел билеты на самое-самое. Таганский репертуар они просмотрели весь, самиздатских авторов она тайком приносила домой и читала по ночам (так ей впервые попал в руки Бродский), и вообще жизнь приобрела новое измерение. Теплота, с которой они тянулись друг к другу, ничуть не мешала бурным романтическим вспышкам, а энергетическая

связь становилась все отчетливее – девочка чувствовала его присутствие раньше, чем успевала увидеть.

Станции метро, библиотеки, кафетерии, снежные улицы – все стало фоном ожиданий и встреч, но все же в городе ей чего-то не хватало. Будто прозрачная пленка существовала между ними, будто издавала неприятный целлофановый хруст при каждой попытке абсолютного сближения. Мешали чужие глаза, явные или неявные, чужая энергия, наполнявшая город, – кто знает.

Совсем другое происходило на лыжной прогулке, когда они договорились ехать кататься в Фирсановку, а с утра завернул двадцатипятиградусный мороз, но не отказываться же ей было от такого сладкого подарка! Наврав родителям про несуществующую лыжную базу с отоплением и горячим чаем, она отчаянно ждала его у пригородных касс, от испуга приехав почему-то на полчаса раньше. Счастье началось на лыжне, когда озноб сменился ровным внутренним теплом, щеки горели снегириным оттенком, и можно было любоваться мальчиком на крутых спусках с гор – пружинящая фигурка казалась такой же частью ландшафта, как и усыпанная шишками сосновая ветка, нависшая над тропой. Ей нравились его руки, когда он уверенно разжигал костер, топил снег в маленьком котелке и угощал ее дымящимся чаем, нравился рисунок на свитере, в который так приятно было уткнуться носом, нравилось не думать о возвращении в город – остаться бы с ним среди зимы в придуманной деревянной избушке.

Потом была весна, шальная, солнечная, быстрая. Майская сессия шла легко и весело. Получив свои пятерки, они брались за руки, бегом спускаясь по крутым тропинкам Ленинских гор к реке. Резкая белизна модной нейлоновой рубашки оттеняла его загар. Понятно, когда успел загореть – выбирался уже на байдарке с отцом, они часто путешествовали вдвоем и иногда забирались очень далеко, например, на Приполярный Урал. И когда он рассказывал ей про камни и мхи, про глухое безлюдье и то пружинное ощущение, с которым только и удается пробиться сквозь пороги и водопады, она мысленно представляла себе это, завидовала и надеялась, что когда-нибудь и ее возьмут с собой.

На Ленгорах можно было сесть на речной трамвайчик и плыть в любую сторону, а можно было затеряться меж стволов, найдя укромную лавочку или просто лежащее бревно, и долго сидеть в обнимку, разговаривая о разных вещах и временами переходя на торопливые легкие поцелуи. В тот раз они пристроились на корявой скамейке, скрытой от посторонних глаз густыми рябиновыми зарослями. Перегретый воздух рябил от узких резных теней, и вдруг их потянуло друг к другу, но когда она обвила его шею руками, он неожиданно сказал, что ее часы тикают слишком громко. И тогда она расстегнула ремешок и рассеянным броском зашвырнула их в кусты, серьезно заявив: «Счастливые часов не наблюдают». Оба рассмеялись, став еще ближе и родней. Сколько времени сжимали они друг друга в объятиях, сказать трудно, но когда шквал пронесся, мальчику пришло в голову немедленно отыскать пропажу. Следующие полчаса они ползали под кустами, фыркая от смеха и прощупывая каждый сантиметр, вывозили руки в черной грязи, но проклятые часы как сквозь землю провалились, будто кто-то дежурно стоял в зарослях и ждал, когда добыча сама плюхнет в подставленные руки, а потом ретировался неслышно или просто растворился в природе. И вдруг ей резко расхотелось смеяться. Запах земли – вот что заставило тревожно задрожать ноздри, вдохнуть сильнее и впустить в легкие что-то живое, странно изменившее внутренний ритм. Что-то отозвалось в животе, какая-то темная вода, волнуясь, поднималась к горлу. Ей стало не по себе, она вскочила на ноги и переключилась на мысли о потерянных часах.

Было досадно – часы подарил отец на шестнадцатилетие, самые обыкновенные, не девичьи, а «молодежные» – простецкий циферблат чуть поболее пятака и дешевый кожаный ремешок, но семья жила трудно, и неизвестно, когда еще получишь новые. Однако и особого рода гордость она чувствовала – приятно вот так, запросто, совершить красивый жест ради минут-

ного каприза того, кого любишь! Впрочем, приятность сошла на нет, стоило мысленно представить разъяренную мамочку, которая и так все дочкины проблемы связывала с неудачным кавалером.

Невысоких мужчин мать не терпела почти так же, как евреев, и, увидев мальчика в первый раз, заговорила недружелюбно, едва скрывая неприязнь за ироническими пассажами, но он был молодцом и обезоружил ее той же иронией, правда, с едва заметным оттенком дерзости. Диалог получился блистательным, победителей в таких не бывает, но жертвой стала, как обычно, дочь. Итак, она не была отпущена в кино с этаким щенком («А нос!.. Нос один чего стоит!»), и все дальнейшие отношения были бы под запретом, если бы не учеба на одном курсе. Все попытки объяснить, какой он замечательный, умный и добрый, вызывали лишь неопишемую ярость. Подозревать можно было какой-нибудь семейный «скелет в шкафу» – во всяком случае, повод к изысканиям был.

Мать в юности слыла первой красавицей и горячкой филологического отделения и отказала доброму веселому еврейскому юноше из Пищевого института, который, недолго думая, ошастливил законным браком ее младшую сестру, заделавшись таким образом официальным родственником, почти братом. По распределению он попал в бывший Кенигсберг, там восстанавливал из руин пищевую промышленность и скоро стал директором ликеро-водочного завода. Часто наезжал в Москву, в командировки, в какой-то таинственный Главк. С его приездом дом наполнялся радостным басом и кучей подарков самого неожиданного свойства. Как-то раз он появился на пороге с ведром, полным живых омаров, и с хохотом объяснил, что только вчера в порту пришвартовался корабль, по знакомству и перепало. Гигантские раки ползали по кухонному столу, их даже жалко было варить. Девочку дядя любил особенно – очень похожа была на мать в юности – и привозил ей то янтарные украшения, то какой-нибудь прибалтийский писк моды вроде белых колготок, и она тоже обожала дядю, но ей казалось, что этот веселый бас, это ощущение жизни, исходящее от высокого лысого человека, имеют какое-то отношение к той обиде, что прятала мать глубоко-глубоко в себе. В последний раз девочка получила в подарок джемпер из валютного магазина, да такого синтетически-розового цвета, что сидя в аудитории выглядела как фламинго среди стаи ворон.

А мальчику понравилось. Он вообще как-то сказал ей – ты видишь, мы на курсе хуже всех одеты? Она удивилась, поскольку не замечала. Ей всегда перепали мамыны вещи, которые она считала верхом элегантности. Модные журналы были маминой слабостью, шила она великолепно, девочка всегда рада была получить что-то с ее плеча – слегка перешитое, аккуратно подогнанное. И стрижку мама делала ей сама – точно как в польском фильме «Вернись, Беата!».

Мальчик донашивал бесформенный папин свитер, а знаменитый потертый портфель, видимо, раньше тоже был достоянием доктора философии. Но если девочка не догадывалась стесняться маминой старой сумки в качестве вместилища конспектов, то мальчик обнаруживал признаки уязвленного достоинства – и она наконец стала понимать, что он болезненно гордится своим еврейством и интеллигентским происхождением. Печать изгойства казалась ему непреодолимой, а мамочкины нападки закономерно воспринимались в том же ряду.

Досадные шероховатости реальности ничуть не мешали дпящемуся ожиданию счастья. Впереди маячила крымская практика, и так хотелось оказаться среди любимых с детства гор, но не с родителями, а в своей веселой компании, вдали от материнских придинок и яростных криков: «Ты еще в подоле принесешь!» – тем более обидных, что и повода никакого не было. После бессонной ночи в поезде, когда весь курс гудел, опорожнив бесчисленное количество стеклотары и то одна, то другая пара ссорилась и мирилась в тамбуре, а один псих даже гро-

зился выброситься из вагона на почве несчастной любви, их посадили в грузовики и повезли в сторону моря. На первом же перевале всех выгрузили, и оттуда они, затаив дыхание, рассматривали голубую волнистую горную панораму, с почти детским восторгом раскрываясь навстречу завтрашней новизне. Профессорша, немолодая спортивная дама, нацеливала ручку геологического молотка то на одну, то на другую вершину, и топонимы в ее устах звучали звучно и загадочно, их хотелось повторять и долго-долго катать на языке – Чатыр-даг, Демерджи, Салгир...

Потом палаточный лагерь кочевал с места на место по всей Тавриде, все лето они осваивали места, недоступные для простых туристов, похудели, загорели, возмужали, вкусив радостей не столько геологической науки, сколько беспечальной с виду кочевой вольницы. Жизнь, однако, порой выказывала свою строптивость не лучшим образом – к концу второго месяца они потеряли троих: один утонул, двое перевернулись в попутной машине. Но даже визиты убитых горем родителей лишь ненадолго охлаждали посуровевший коллектив; через пару дней все опять кипело и бурлило юной энергией, продолжались флирты, и не одобряемые начальством ночные вылазки в горы, и путешествия автостопом – много всякого запретного, и оттого еще более прекрасного.

Мальчик и девочка учились в разных группах и почти не виделись днем, зато по вечерам и выходным наступало их время – время бродить по окрестностям, держась за руки и выхаживая по склонам, полям и оврагам новое, почти уже взрослое чувство. Однажды они отправились в Чуфут-Кале – не по главной дороге, где туристские автобусы то и дело выплевывают очередные порции воскресных туристов, похожих не на истинных путников, а на докучных зевак, но с другой стороны – через крутой залесенный склон, прятанный в зарослях древнее караимское кладбище. По крутой тропе можно было вскарабкаться на плато, к дороге, возраст которой тянул на несколько тысяч лет, – к двум колеям, пробитым в известняке колесами; бог знает, что там ездило – арбы? телеги? – а теперь там и не ходил никто. Колеи не зарастали травой – ей почти не за что было зацепиться на плоской каменистой поверхности, там жили только лишайники – и пылало бирюзовое небо над головой. Дальше тянулась крепостная стена с узким круглым отверстием, расположенным довольно высоко, но, проявив ловкость, удавалось подтянуться и проскользнуть в него, слегка ободрав плечи, зато сразу оказаться внутри крепости, в ее дальнем углу, где никто не требует входных билетов и бессмысленные толпы зевак не распугивают сиреневых ящериц, впивающих тепло горячих плит. Мелкие колючие цветы скрашивают пустынное уныние пыльной травы, а звон насекомых настраивает слух на вечность. Если сидеть тут долго и неподвижно, воздух расщепляется на слои, тонкие, как годовые кольца, и в каждом происходит своя жизнь – смутное кино на выцветшей черно-белой пленке, а пространство наполняется движением и ощущением чужого присутствия. Мертвый город не удавалось достроить воображением, изъеденные основания разрушенных стен не превращались в здания, но жители возникали легко – то один, то другой проскальзывал мимо, обдавая слабым ветром, вроде бы даже лица удавалось разглядеть.

Мальчик и девочка не столько разговаривали, сколько молчали, растворяясь то в звуке, то в беззвучности, то в горячем цвете, то в линиях бесцветности, как бы пробуя и меняя настройку, высвечивая пейзаж с неожиданной стороны. Пожалуй, они первый раз делали это настолько *вместе* – новые ощущения радовали и пугали одновременно. Вокруг дышал ветер, дышали горы, дышали камни, двое вливались в ритм всеобъемлющего дыхания, и хотя каждый из них остро сознавал свою отдельность, оба подчинялись мерному колыханию, втягивающему, отнимающему волю, но дающему что-то большее взамен. Весь день они почти не касались друг друга, не считая взаимного проталкивания в дыру да поддержки на самых крутых участках горной тропинки, – но это случилось уже на обратной дороге.

Заброшенное караимское кладбище выглядело хаотическим скоплением известняковых надгробий, сползших по склону и растерявших свой первоначальный строй. В том, что раньше строй присутствовал, можно было не сомневаться – слишком одинаковы были плиты с торчащими чалмообразными выступами, слишком легко эту геометрию удавалось экстраполировать до более высокого порядка. Впрочем, мох самых разных оттенков сглаживал углы каменных параллелепипедов, с веток свешивались плети плюща с рогатыми листочками, и казалось вполне вероятным, что никто здесь не проходил в последние лет сто – непонятно, откуда вообще взялась эта сумрачная тропа.

Девочка почему-то представила себя в античном венке из плюща, принялась рвать неподатливый стебель, почти вывернула с корнем – и тут опять этот запах, запах сыровой земли, коснулся ноздрей. Вместе с запахом она вдохнула тревогу, почувствовала головокружение, подумала, что оно могло быть от сидения весь день на солнце, и опустилась на каменное надгробие, подобрав под себя исцарапанные ноги в грязных кедах. По холодноватой плите вились прихотливые надписи на давно умершем языке, в прорезях букв чернели лишайники.

Девочка почувствовала поток времени – выпуклый и бесцветный, он омывал и ее, и корни, и камни, и могилы, и бывших людей, он все разделял и всех соединял. Мальчик сидел на корточках у соседнего надгробия, сосредоточенно отковыривая ножом лишайник, и пытался освободить часть полустертого рисунка. «А ты знаешь, – сказал он, – что караимы – тоже евреи, но, кажется, принявшие мусульманство, я читал, но забыл, и чувствую что-то родственное». Она откинулась спиной на плиту, стараясь увидеть небо, но его не было видно сквозь плотный полог растительности, зеленоватый воздух дрожал и переливался, как толща пруда, прошитая лучами насквозь. Запах земли опять будил что-то внутри, темная вода пульсировала и поднималась от живота к горлу. Ей захотелось, чтобы он подошел – может быть, лег сверху, но он только взял ее за руку и серьезно сказал: «Ты что, с ума сошла? Только не здесь». Она покорно встала, и они пошли дальше.

День был просто змеиный – за час две блестящие твари переползли им дорогу, третья свесилась с ветки прямо над тропой, но девочка не пугалась – ей казалось, главное уже началось, и ни о чем другом она не могла думать. Все текло как-то само собой, и вечером они уже шли, держась за руки, по дороге, змеящейся в гору меж двух известняковых подпорных стенок, уводящих будто в устье черного тоннеля. Никакой ясной цели у них не было, но куда-то их тянуло беспрекословно и яростно, они ничего не спрашивали друг у друга, но синхронно останавливались в нужном месте, сворачивали на почти незаметные в темноте тропы, лезли вверх, отмахивались от колючих веток и наконец вынырнули из темноты на плоскую лысую вершину водораздела с приторным восточным названием Сель-Бухра. Тень от тригопункта, похожего на гигантский циркуль, густо чернела на светлой равнине, луна висела абсолютно круглой, низкой и желтоватой. Во все стороны волнообразно уходили покатые спины гор второй и третьей гряды, призрачное сияние просвечивало тьму насквозь, ничто не двигалось, но все дышало и колебалось.

Они медленно стянули с себя одежду и, не стесняясь наготы, молча легли почти рядом на белый плитчатый мергель, осязая друг друга лишь намагниченными кончиками пальцев. В эти пальцы будто стекало все статическое электричество их тел – чуть-чуть, и они засветились бы огнями Святого Эльма. Зрение могло только помешать, поэтому им легче было смотреть вверх, предоставив магниту совершать свою закономерную работу. Светили звезды, не очень яркие, а как бы приглушенные луной, небо выглядело пологом слегка линиялого черного сатина с пробитыми толстой иглой дырками – в них просачивался запредельный чистый свет.

Девочка совершенно потеряла ощущение тела – ветерок уже не охлаждал кожу, острые камешки не впивались в спину, остатки чувствительности напоминали о себе только покалыванием в пальцах, но скоро и они исчезли. Невесомость наполнила тело, как гелий наполняет

воздушный шар, она оторвалась от земли и стала медленно подниматься. Удивления, страха – ничего не было, горизонтального полета тоже – было плавное вертикальное скольжение, будто в невидимом лифте. Звезды стали крупнее и ярче, ночной свет заливал черные мохнатые спины гор, горизонт отодвигался и новые холмы примыкали к бесчисленному стаду, прямо внизу светлела лысая равнина с грифельной тенью геодезической вышки, где две маленькие обнаженные фигурки, совсем белые, почти светящиеся, лежали подобно двум фарфоровым куклам почти параллельно, протянув друг другу руки, сцепив пальцы и глядя вверх.

Потом у нее получилось сменить галс – она полетела вбок и сделала несколько кругов над светлым пятном, наслаждаясь созерцанием тех двоих внизу и тревожно ловя боковым зрением передвижение косматых выпуклостей рельефа, а потом сумела отчаянно спикировать вниз, хотя ее потряхивало от невидимых воздушных потоков. Вернувшись в тело, снова ощутила и камешки, и прохладу, и взаимную намагниченность, а мальчик, убедившись, что она тут, ответил нежным пожатием пальцев.

И вдруг она опять уловила его – запах земли. Здесь он был сухой, известковый, совсем не похожий на пряный лиственный дух Ленинских гор или мшистые испарения караимского кладбища, но темная вода вновь колыхнулась в ней, расширилась – и вышла из берегов. Тело стало одной субстанцией с этой тьмой, ходившей волнами, воздушные потоки неба продолжались и под землей, а тайные перемещения гравитационных масс и силовых полей отзывались в теле волнами дрожи. Ее мучили одновременно тяжесть и легкость, она ловила кожей струящееся время и знала, что может перемещаться в его потоке туда и обратно. Плывая назад, она видела их, тех, которые были до нее, они назывались предки, их голоса шелестели, как высохшие листья, они тихо благодарили ее за возможность вынырнуть из небытия и проявиться здесь и сейчас. Но ей захотелось другого – тогда она рыбой развернулась в потоке и, ухватившись крепче за руку мальчика, стала смотреть вперед. Она думала – там те, пока еще не рожденные люди, которые будут жить, и это случится, если мы, мы двое, сейчас этого захотим. Она знала, что стала теперь частью могучей иррациональной силы, самодостаточной стихии, и одновременно наполнялась гордостью и покорностью. Мы захотим – и эти люди станут жить, и рожать детей, а те – еще других, и конец этой цепи уходил в такую непостижимую вечность, что голова кружилась. Закружились звезды, стронулись с места горы и пошли медленной каруселью по горизонту; счастье заливало мир все горячее и яростнее, и тут свет, прорвав игольные дыры сатинового купола, вдруг хлынул потоком небесного огня, прошел сквозь мальчика и девочку, они наглотались его, как воды, и затихли, словно выброшенные волною на песок.

Больше ничего не случилось.

Полежав еще немного неподвижно, они молча поднялись и стали одеваться. Она не удивлялась и не спрашивала его ни о чем. Когда дошли до ворот лагеря, уже светало. Легкий безмолвный поцелуй на прощание – и она нырнула в палатку, споткнувшись о чьи-то горные ботинки и стараясь не разбудить подруг. Полог над ней был брезентовым, и в крохотные дырочки уже протекал свет наступившего утра. По щекам вдруг побежали горячими струйками слезы. «Что это было? – думала она. – Я нигде не читала ни от кого не слышала». Она снова и снова вспоминала полет, могучий световой поток и чувство причастности к мирозданию и верила, что такое случится еще много раз в жизни.

А вышло так, что случилось всего три – один раз с первым мужем и дважды со вторым. А с мальчиком все как-то плавно сошло на нет, так и не было между ними никакого секса, но когда она через два года объявила ему, что выходит замуж, он вдруг заплакал и встал на колени – все у той же несчастной скамейки на Ленинских горах. Ей стало жалко его, да и самой, честно говоря, было не так уж все равно, но она упрямо не хотела что-то склеи-

вать, сама не понимая почему, и поняла только жизнь спустя – огонь, пробивший ее насквозь, можно было сохранить лишь в памяти, но совершенно независимо от семейной ежедневности.

Но сейчас, лежа в палатке, она ничего о будущем не знала, никаких планов не строила, и ей оставалось только плакать – от испуга и счастья, как потом будет плакать ее маленький сын, когда летом в деревне бабушка выведет его на ночное крыльцо и строго скажет: посмотри на звезды.

Луч фонарика в сторону звездного неба

Ну не понимаю я, как прозу пишут. Со стихами все ясно. Допишешь – и знаешь, удалось пройти по канату или сорвалась. Или чуть не сорвалась, до конца доползла – но с помощью цепляний руками, некрасиво извиваясь, не геройски, что ли.

Проза – не то. Я что, сюжет профессионально склеить не могу или, скажем, диалоги выстроить? Могу, но все время мешает что-то, текст выскользывает из рук, как рыбина тяжелая, скользкая, и тащит упорно за собой. И не то чтобы именно на глубину – а так, куда придется. То на стремнину, то к илистым, тинистым берегам, и застреваешь там, в зеленых пузырящихся хлябях, как листик осенний, – не знаешь, то ли прямо здесь в лед вмерзнешь, то ли опять поплывешь, на середину реки вырулишь и дальше помчишься, подгоняемый азартным ветром. Нет здесь этого каната, как бывает в стихотворении. Степеней свободы вроде бы и больше, но от тебя они никак не зависят, и кто их задает – непонятно.

Ну вот два моих «я» и встретились – канатоходец и листик.

Я канатоходцем давно себя чувствую. Идешь, покачивая балансиром, а никто не знает, что ведет тебя невидимый радар – как у птиц перелетных. Они же север с югом не путают? Но птицы летают стаями, а наше дело одиночное, только ты и Тот, кто тебе эти сигналы посылает. И если есть чем в нашем деле гордиться, то только своим слухом, каковым по мере непонятого замысла тебя природа одарила. Поэтому никакая зависть между поэтами не должна водиться, как между березой и сосной, к примеру. Я бы и жизнь всю так пропела, слушая эхо наподобие летучей мыши, которая тоже по отраженному ультразвуку ориентируется.

Но вдруг оказалось, что слух слухом, а вот вестибулярный аппарат можно легко из строя вывести. Тут не только с каната сорвешься, но и вообще понять не можешь, где он, этот канат. Что с моей вестибуляркой случилось – тема тоже интересная, но я ведь теперь листик... и меня пронесит мимо темы, как мимо подгнивших мостков, где дачная соседка полощет белье красными руками и распугивает водомерок. Жить в новом воплощении – странновато немного, но постепенно привыкаешь и начинаешь осознавать себя. Не просто листик, а с маньчжурского клена, маленький, алый, разлапистый. Интересно, откуда взялся? У нас маньчжурские клены только в декоративных посадках встречаются, да и то в городе, а я плыву по подмосковной речке Рожайке, чьи прихотливые меандры плутают по осиновому чернолесью, чтобы дальше выскочить на простор искусственного озера с круглым островом посередине. На высоком берегу бывший усадебный дом – говорят, Татищевых, и в высоких черных елях острова запутались, как клочки тумана, тени восемнадцатого века. Коттеджи новых русских, опустив в речку тайные подземные хоботы канализационных труб, сливают в нее отходы жизнедеятельности, оттого ил на дне черный и маслянистый, но я его не вижу, я скольжу по рябящей глади и наблюдаю только камыши, шумную красноносую гусиную стаю, розовые шапки прибрежных цветов и белую лошадь под необхватными старыми ивами.

Куда ж нам плыть? У каната всегда есть второй конец, крепко привязанный к какому-нибудь вбитому крюку, а наша траектория, хоть и извилистая, подобна геометрическому лучу, то есть бесконечна. Понятно, что раз мы странствуем в бассейне Оки, то уж Волги нам не миновать, а потом и Хвалыни-Кольвани, и хотя Каспий – внутреннее море, то есть водоем замкнутый, вряд ли мы до него доберемся, поэтому допущение о принципиальной неизмеримости луча вполне подходит. Во всяком случае, тут его использование корректно.

Ага, опять тащит меня текст куда-то, тянет, а все из-за слова корректно. Тут еще одна заводь, совсем уж тинистая – политкорректность. (Кстати, алый листик на влажной зелени смотрится вполне эффектно.) Вот уж идея замечательная, но, как и все другие замечательные идеи, она в руках социума ведет себя что дышло – куда повернул, туда и вышло. Если лапше, навешанной на уши, верить – это проявление индивидуальной свободы. Каждый чело-

век в своих действиях всегда прав, поскольку имеет собственные внутренние потребности, а если кто его не одобряет – он противник свободы и проводник идей тоталитаризма. Ярлыков всегда много можно навешать, что нам стоит. Только свобода границ не имеет, а где она переходит в чистый эгоизм, никто не знает, да и выяснять не собирается, поскольку это не политкорректно. А по ходу дела выясняется, что если твой собеседник вор, подлец, казнокрад, многоженец или кто там еще, а ты имеешь смелость ему это сказать, то именно ты, а не он, подвергаешься общественному порицанию вплоть до презрения. Короче говоря, замечательное поле для Раскольниковых с их топорами – тут уж никакому Порфирию Петровичу сдаваться не надо, поскольку они ничего не делают запретного, только свободу свою реализуют. Сейчас с кем ни поговоришь, все один вопрос задают: а где граница между допустимым и недопустимым, почему хаму нельзя сказать, что он хам? Но, с другой стороны, поди докажи, что это хамство, а не свобода самовыражения. Только старые упертые школьные училки продолжают делить мир на черное и белое, что детишек чрезвычайно забавляет и заставляет подозревать в фанатичных тетках пресловутый «совок». Меж тем общество поражено чем-то вроде кессонной болезни. Как пузырьки воздуха, вскипающие в крови, могут погубить человека, так и интоксикация свободой не делает социум здоровым. Да ладно, к чему я это говорю? А вот к чему: как-то спросила я об этом у одного священника, а он мне и отвечает – а зачем Бог дал человеку чувство гадливости? Чтобы различать. Вы свою душу слушайте, не ошибетесь.

Слушаю я свою душу не то чтобы очень часто, но теперь, когда листиком стала, то по крайней мере внимательно. Наверное, с возрастом чувствительней становишься к этому черному-белому. Конечно, некоторые говорят, что восточный менталитет адекватнее – для них и черное существовать может белому не во вред. Хоть возьмите инь-ян, где они слитны и неразрывны. А я думаю – нет, что-то вы перепутали, ребята! Там между ними граница четкая есть, поэтому они в стороны разнесены, хоть друг к другу и лепятся. А у нас мембрана лопнула, гармония смешалась, структура упростилась, и одна сплошная серость царит и нависает. Энтропия. А говорят – свобода.

Кто сказал, что человек свободен? Да от чего, помилуй бог, – от силы тяжести свободен? От процента кислорода в атмосфере? От морозов лютых и пустынь безводных? А теперь и другое добавилось – массмедиа вас так отформатирует, что на девяносто процентов ваши индивидуальные психологические реакции – просто клоны. И меня тоже за собой что-то тащит, я несвободна; ветер, волны, торчащие со дна стволы бывших деревьев, турбулентные потоки у опор моста, даже крики ворон, колеблющие воздух – все они определяют траекторию, которую можно теоретически просчитать, если кому-то это интересно. Просчитать – да, а изменить? Запросто, вон хоть тот мальчишка с удочкой, балансирующий на лодке. Лоб его наморщен сосредоточенно – что, интересно, он выловить хочет, когда тут давно уже всю рыбу распугали и потравили? Но шлепанье его грузила, круги по воде и легкомысленная раскачка хилого плавсредства тоже чуть-чуть меняют вектор моего движения, и я попадаю в параллельную струю, а уж она выносит меня в маленький затон, где плавают гусиный пух и размокший венчик из одуванчиков.

Гуси между тем спускаются к воде с задворок очередного новорусского дома – их выпускает из сетчатого вольера мирный таджик, которых в Подмоскovie теперь великое множество. Они тоже свободны – говорят, за ближним лесом стоят целым табором с женами и детьми, и никто не мешает им наматывать пешком километры по округе в поисках работы. Работают аккуратно, денег много не просят, терпеливые батраки, не дающие семьям умереть с голоду. У забора одного из трехэтажных газпромских коттеджей стоит архитектурное чудо: хижина не хижина, конура не конура – что-то вроде частокола белых березовых стволов, накрытых шифером. Гадать о его назначении бесполезно – у меня даже фантастическая мысль мелькала, что там держат сено для личных лошадей хозяина, – уж лучше заглянуть. Закопченный стол, два топчана и что-то похожее на примус. Ага, жилище батраков! Один из них и выпускает сей-

час на выгул гусей, явно предназначенных для непритязательных дачных застолий. Вытянув кверху шеи, выставив перпендикулярно клювы, они косолапо приближаются к воде. Вдруг что-то спугнуло их, шеи сразу легли горизонтально, клювы раскрылись для щипка, шип колючий слышен. Интересно, что у всех одновременно. И это не просто девять гусей, а именно стая. Когда они уже наконец плывут, то одновременно меняют галс – интересно, каждый из них чувствует себя в этот миг свободным? А любой малек в прозрачном косячке рыбьей мелочи, который совершает сейчас резкий поворот прямо подо мной, на просвеченном солнцем зеленом мелководье? Или одна из тех ворон, тучей закрученных над лесом в спиральную воронку, как чайники на дне стакана? Кому из них нужна свобода, чтобы быть собой? Между прочим, у них нет хозяев и батраков, как нет и пресловутого Газпрома, который свободно пользуется правом сильного и не платит батрачащим научным коллективам за работы по договорам, из-за чего даже мой сын с университетским образованием вынужден подрабатывать продавцом велосипедов, в то время как brave газпромовцы загородили своими коттеджами славный вид и изничтожили ромашковый луг.

Значит, свобода есть только способ оправдать сильного, пожирающего слабых? Стоп, невнятно. Начнем сначала. Первое – свободы от сил природы нет, мы все ее дети. Поэтому должны (или не должны?) есть, пить, спать, одеваться – выживать биологически. Вторая свобода – другого рода. Она в принципе возможна – но только для хозяина жизни, который других выгуливает, как гусей, чтобы потом запечь с яблоками и черносливом себе на радость. Другие тоже свободны – пока в стае, и несвободны – в духовке. Такую свободу придумали сильные мира сего, и если она в корне отлична от чего-то – так это от милосердия. И еще от любви, конечно. Любящий несвободен, а предатель свободен, именно свободой свое предательство и оправдывая.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.